

Тонио Крегер, Томас Манн

Зимнее солнце, стоявшее над тесным старым городом, за слоем облаков казалось лишь молочно-белым, блеклым сиянием. В узеньких улочках меж домов с островерхими крышами было сыро и ветрено; время от времени с неба сыпалось нечто вроде мягкого града – не лед и не снег.

В школе кончились занятия. На мощеный двор и через решетчатые ворота на улицу ватагами выбегали освобожденные узники, чтоб тотчас же разбрестись кто куда. Школьники постарше левой рукой степенно прижимали к плечу сумки с книгами, а правой – выгребали против ветра, спеша к обеду. Мелкота бежала веселой рысцою, так что снеговая каша брызгами разлеталась во все стороны, а школьные пожитки тархтели в ранцах из тюленьей кожи. Впрочем, все мальчики, независимо от возраста, с почтением во взоре снимали фуражки перед Вотановой шляпой и Юпитеровой бородой размеренно шагавшего старшего учителя...

– Ну, скоро ты, Ганс? – спросил заждавшийся на улице Токио Крегер и, улыбаясь, двинулся навстречу другу, который выходил из ворот и, увлеченный разговором с товарищами, совсем уж было собрался уйти с ними...

– А что? – спросил тот, взглянув на Тонио. – Ах да! Ну, ладно, пройдемся немного.

Тонио не отвечал, глаза его стали грустными. Неужто же Ганс позабыл и только сейчас вспомнил, что они уговаривались сегодня часок-другой погулять вдвоем? А он-то весь день радовался этому уговору!

– Ну, прощайте, друзья! – сказал товарищам Ганс Гансен, – Мы с Крегером еще немного пройдемся.

И они свернули налево, в то время как остальные пошли направо.

Ганс и Тонио могли позволить себе эту прогулку после занятий, так как Дома у того и у другого обедали в четыре часа. Отцы их были крупными негодьями, занимали выборные должности и пользовались немалым влиянием в городе. Гансны из рода в род владели обширными лесными складами внизу у реки, где мощные механические пилы с шипением и свистом обрабатывали древесные стволы. Тонио был сыном консула Крегера, того самого, чье фирменное клеймо – широкое и черное – красовалось на больших мешках с зерном, которые ломовики целыми днями развозили по улицам, и чей поместительный старый дом, доставшийся ему от предков, слыл самым барственным во всем городе... Друзьям то и дело приходилось снимать фуражки при встрече со знакомыми, среди которых попадались и такие, что первыми почтительно здоровались с четырнадцатилетними мальчуганами...

У обоих были переброшены через плечо сумки с книгами, оба были хорошо и тепло одеты: Гане – в бушлат, с выпущенным наружу синим воротником матроски, Тонио – в серое пальто с кушаком. Ганс, по обыкновению, был в датской матросской шапочке с короткими лентами, из-под которой выбивалась прядь белокурых волос. Статный, широкоплечий, узкобедный, с открытым и ясным взглядом серо-голубых глаз, он был очень хорош собою. Под круглой меховой шапкой Тонио виднелось смуглое, тонкое лицо южанина и глаза с тяжелыми веками; оттененные чуть заметной голубизной, они мечтательно и немного робко смотрели на мир...

Рот и подбородок Тонио отличались необыкновенно мягкими очертаниями.

Походка у него была небрежная и неровная, тогда как стройные ноги Ганса, обтянутые черными чулками, ступали упруго и четко.

Тонио не говорил ни слова. У него было тяжело на сердце. Нахмутив разлетные брови, вытянув губы, как бы для того, чтобы свистнуть, и склонив голову набок, он сурово смотрел вдаль. Этот наклон головы и хмурое выражение лица были характерны для него.

Внезапно Ганс взял Тонио под руку и слегка покосился на своего друга, он ведь отлично знал, что с ним творится. И хотя Тонио еще некоторое время хранил молчание, на душе у него сразу полегчало.

– Не думай, что я позабыл, Тонио, – сказал Ганс, глядя себе под ноги, – я просто считал, что сегодня у нас ничего не выйдет, очень уж холодно и ветрено. Но я-то холода не боюсь, а ты молодец, что, несмотря ни на что, дождался меня. Я решил, что ты ушел домой, и злился...

Каждая жилка в Тонио радостно затрепетала от этих слов.

– Давай-ка пойдем по валам, – растроганно отвечал он. – По Мельничному и Голштинскому, таким образом я провожу тебя до дому... Не беда, что обратно мне придется идти одному, – в следующий раз ты меня проводишь.

Он, собственно, не очень-то верил Гансу, прекрасно понимая, что тот и вполтину не придает такого значения этой прогулке. Но видел, что Ганс раскаивается в своей забывчивости, ищет примирения, и отнюдь не хотел от этого примирения уклоняться...

Дело в том, что Тонио любил Ганса Ганеена и уже немало из-за него выстрадал. А тот, кто сильнее любит, всегда внакладе и должен страдать, – душа четырнадцатилетнего мальчика уже вынесла из жизни этот простой и жестокий урок; по самой своей натуре он очень дорожил такими житейскими наблюдениями, внутренне как бы брал их на заметку, даже радовался им, хотя отнюдь ими не руководствовался и никаких практических выводов для себя из них не делал. Так уж он был устроен, что эта наука казалась ему куда важнее, куда интереснее знаний, которые ему навязывали в школе. Во время уроков, в классе под готическими сводами, он главным образом размышлял над этими истинами, стараясь как можно полнее продумать и прочувствовать их. При этом он ощущал почти такую же радость, как в часы, когда расхаживал со скрипкой по комнате (Тонио играл на скрипке), извлекая из нее самые нежные звуки, которые сливались с плеском фонтана, в саду, под старым орешником, посылавшего высоко в воздух свои резвые струи.

Фонтан в саду под старым орешником, скрипка и морские дали, дали Балтийского моря, чьи летние грезы ему удавалось подслушать во время каникул, все это было тем, что он любил, чем старался окружать себя, среди чего протекала его внутренняя жизнь. Все эти слова и образы произвольно складывались в стихи, да и вправду нередко звучали в стихах, которые случалось слагать Тонио Крёгеру.

Тетрадь со стихами собственного сочинения! Слух об этой тетради, распространившийся по его, Тонио, оплошности, изрядно повредил ему во мнении одноклассников и учителей. Правда, сыну консула Крёгера казалось, что глупо и подло порицать человека за писание стихов, и он презирал своих товарищей и учителей, впрочем и без того внушавших ему отвращение дурными манерами и мелкими слабостями, которые он подмечал в них с удивительной пронизательностью. С другой стороны, он и сам, считая стихотворство

чем-то неуместным, даже неподобающим, признавал правоту тех, что его осуждали. И все-таки продолжал стихотворствовать...

Поскольку дома он попусту растрачивал время, а в школе был мешкотен, рассеян и на дурном счету, то и отметки приносил самые дурные, что очень огорчало и сердило его отца, высокого, изящно одетого господина, с умными голубыми глазами и неизменным полевым цветком в петлице.

Зато матери Тонио, его черноволосой красавице матери, носившей имя Консуэло и несколько не похожей на всех остальных дам в городе, – отец когда-то привез ее из далеких краев, расположенных в самом низу карты, – его отметки были совершенно безразличны.

Тонио любил свою смуглую пылкую мать, чудесно игравшую на рояле и на мандолине, и радовался ее безразличию к тому, что все у него не так, как у людей. Но в то же время он чувствовал, что гнев отца достойнее и почтеннее; хотя тот на все лады и распекал сына, Тонио в глубине души соглашался с ним, а веселую беспечность матери находил немного непутевой. Временами он думал примерно так: «Ну пусть уж я такой, как есть, нерадивый, упрямый, пусть я размышляю о вещах, которые несколько не интересуют других, пусть не хочу и не могу измениться. Но, конечно, за это меня нужно бранить и наказывать, а не отделяться игрой на рояле и поцелуями. Мы же не цыгане в таборе, а добропорядочные люди: консул Крёгер, семейство Крёгеров...» Нередко он даже спрашивал себя: «Почему я какой-то отщепенец, не такой, как все, почему учителя ко мне придираются, а сам я сторонюсь товарищей? Ведь это хорошие, благонравные ученики, – то, что называется «золотой серединой». Учителя не кажутся им смешными, они не пишут стихов и думают о том, о чем положено думать и что можно высказывать вслух. Какими порядочными, со всеми согласными они ощущают себя, и как это, наверно, им приятно... Кто же я такой и что со мной будет дальше?»

Эта склонность Тонио рассматривать себя и свое отношение к жизни со стороны играла большую роль в его любви к Гансу Гансену. Он любил его прежде всего за красоту, но еще и за то, что Ганс решительно во всем был его противоположностью. Ганс Гансом прекрасно учился, был отличным спортсменом, ездил верхом, занимался гимнастикой, плавал, как рыба, и пользовался общей любовью.

Учителя, можно сказать, души в нем не чаяли, звали его по имени, всячески поощряли, товарищи заискивали в нем, мужчины и дамы, встречаясь с ним на улице, гладили белокурые пряди, выбивающиеся из-под его датской матросской шапочки, и говорили:

– Здравствуй, Ганс Гансом, что за славные у тебя кудри! Ну, как? Все еще первый ученик? Молодчина! Кланяйся маме и папе, мой мальчик!

Таков был Ганс Гансен, и Томно Крёгер, смотря на него, всякий раз ощущал завистливую тоску. Она гнездилась где-то повыше груди и жгла его сердце. «Ну у кого еще могут быть такие голубые глаза; кто, кроме тебя, живот в таком счастливом единении со всем миром? – думал Тонно-. – Ты всегда находишь себе благопристойные, респектабельные занятия. Покончив с приготовлением уроков, ты отправляешься в манеж или выпиливаешь из дерева какие-нибудь вещишки; даже во время каникул у моря ты по горло занят греблей, катаньем под парусом или плаваньем, тогда как я праздну валяюсь на песке, всматриваясь в таинственные «змеионня, что пробегают по лику моря. Поэтому и ясны твои глаза. Быть таким, как ты...»

Впрочем, он не делал попыток стать таким, как Ганс Гансом, а может быть, и не хотел этого всерьез. Но, оставаясь самим собою, он мучительно желал, чтобы Ганс любил его, и

на свой лад домогался его любви: всей душой, медлительно, самозабвенно, в печали и томлении – томлении, что гложет и жжет больнее, чем буйная страсть, которую можно было бы пред-, положить в нем, судя по его южному облику.

И он домогался не напрасно. Ганс видел, что Тонио кое в чем его превосходит, – например, в известной изощренности речи, позволявшей ему высказывать необычные мысли; к тому же Ганс хорошо понимал, что столкнулся здесь с чувством, необычайно сильным и нежным, и умел быть благодарным; он доставлял Тонио немалую радость своим дружелюбием, по также и муки: ревность, разочарование, горечь от безнадежных попыток установить наконец духовную общность. Примечательно, что Тонио, завидовавший душевному складу Ганса Гансона, все же постоянно пытался приобщить его к своим интересам, но это ему удавалось разве что на мгновение, а скорей и вовсе не удавалось...

– Я прочитал одну изумительную, потрясающую вещь... – говорил он.

Они шли и на ходу лакомились из кулечка леденцами, купленными за десять пфеннигов у бакалейщика Иверсена на Мельничной улице.

– Ты должен прочесть ее, Ганс, это «Дон Карлос» Шиллера... я тебе принесу его, если хочешь...

– Да мет уж, Тонио, куда мне! – отвечал Ганс Гансен. – Лучше я останусь при своих книгах о лошадях. Иллюстрации там, доложу я тебе, первый сорт. Приходи – посмотришь. Это моментальные снимки, на них видишь лошадей, идущих рысью, галопом, берущих препятствия – в таких положениях, которые обычно и не успеваешь заметить из-за быстроты...

– Неужто во всех положениях? – учтиво откликнулся Тонио. – Здорово! Что же касается «Дон Карлоса», так это даже словами не скажешь. Там есть места, вот увидишь, что ты прямо взвиваешься; словно от удара кнутом.

– Кнутом? – переспрашивает Ганс Гансен. – Как так?

– Ну, например, место, где король плачет, оттого что маркиз обманул его... А он обманул его ради принца, понимаешь, которому принес себя в жертву. И вот из кабинета в приемную просачивается весть, что король плакал. «Плакал? Король плакал?» Придворные в полном замешательстве, а тебя прямо в дрожь бросает, потому что это страшно непреклонный, грозный король. Но вполне понятно, отчего он плакал, и я лично жалею его куда больше, чем принца и маркиза, вместе взятых. Он ведь так одинок всегда. Никто его не любит. И вот ему показалось, что он наконец нашел человека, а этот человек предал его...

Ганс Гансен сбоку заглянул в лицо Тонио, и что-то в этом лице, видимо, расположило его в пользу затронутой темы, ибо он опять просунул руку под руку Тонио и спросил:

– А каким же образом он его предал, Тонио?

Тонио оживился.

– Дело в том, – начал он, – что все письма в Брабант и во Фландрию...

– А вон идет Эрвин Иммерталь, – сказал Ганс.

Тонио умолк. «Чтоб ему провалиться, этому Иммерталю! – подумал он. – Надо же было, чтобы именно он попался навстречу! Наверное, увяжется за нами и всю дорогу будет говорить о манеже...»

Эрвин Иммерталь тоже брал уроки верховой езды. Он был сыном директора банка и жил за городскими воротами. Кривоногий, с раскосыми глазами и уже без ранца, он шел им навстречу по аллее.

– Здорово, Иммерталь! – крикнул Ганс. – Мы с Крёгером решили прогуляться.

– Мне надо кое-что купить в городе... Но я вас немного провожу... Что это у вас? Леденцы? Спасибо, возьму две штучки. Завтра у нас урок, Ганс. – Он имел в виду урок верховой езды.

– Отлично! – сказал Ганс. – Теперь мне купят «ожаные гетры, в последний раз я получил пятерку за езду...

– Ты ведь не ходишь в манеж, Крёгер? – поинтересовался Иммерталь, и глаза у него стали как две блестящие щелочки...

– Нет, – как-то робко ответил Тонио.

– А ты, Крёгер, попроси отца, чтобы он разрешил тебе присоединиться к нам, – сказал Ганс Гансен.

– Что ж, можно, – согласился Тонио торопливо и в то же время равнодушно. На мгновение у него сдавило горло оттого, что Ганс назвал его по фамилии; Ганс это, видимо, почувствовал, так как незамедлительно пояснил:

– Я назвал тебя «Крёгер», потому что имя у тебя какое-то ненормальное; ты уж прости, но я его терпеть не могу. Тонио... Да это вообще не имя.

Но ты тут, конечно, ни при чем.

– Тебя, наверно, потому так называли, что это звучит по-иностранному и очень необыкновенно, – с деланным сочувствием заметил Иммерталь.

У Тонио задрожали губы. Но он взял себя в руки и сказал:

– Да, имя дурацкое; и я бы, конечно, предпочел зваться Генрихом или Вильгельмом. Меня окрестили так в честь маминого брата Антонио. Моя мать ведь не здешняя...

Он замолчал, предоставив своим спутникам рассуждать о лошадях и шорных изделиях. Ганс взял под руку Иммерталя и говорил с таким оживлением и интересом, какого в нем никогда бы не пробудил «Дон Карлос»... У Тонио временами дрожал подбородок и щекотало в носу от желания заплакать; он удержался от слез только усилием воли.

Гансу не нравится его имя – что тут поделаешь? Его зовут Гансом, Иммерталя – Эрвином, это общепринятые имена, ими никого не удивишь.

А «Тонио» звучит по-иностранному и несколько экзотично. Да, хочет он того или нет, а все с ним получается как-то необыкновенно, поэтому он одинок и не похож на всех остальных людей, добропорядочных и обыкновенных, хоть он и не цыган из табора, а сын консула Крёгера, из рода Крёгеров... Но почему же Ганс называл его «Тонио», покуда они

были одни, а как только к ним присоединился третий, стал стыдиться своего друга? Временами они близки с Гансом, – это несомненно. «Каким же образом он его предал, Тонио?» – спросил Ганс и взял его под руку. Но не успел объявиться этот Иммерталь, как он вздохнул с облегчением и оставил его, да еще ни за что ни про что попрекнул иностранным именем. Как больно все это видеть и понимать!.. Ганс Гансен совсем неплохо к нему относится с глаза на глаз, он это знает. Но едва появится третий – и он уже его стыдится, жертвует им для другого. И Тонио опять одинок. Он подумал о короле Филиппе. Король плакал.

– Что ж это я делаю! – воскликнул Эрвин Иммерталь. – Мне ведь давно пора в город! До свиданья, друзья, спасибо за леденцы. – С этими словами он вскочил на скамейку, с которой они поравнялись, пробежал по ней на своих кривых ногах и рысцой затрусил по дороге.

– Иммерталь мне нравится, – веско проговорил Ганс. У него была самоуверенная манера всеобщего баловня объявлять о своих антипатиях и симпатиях, точно он милостиво жаловал ими окружающих...

Потом он опять заговорил о верховой езде, – раз напав на эту тему, он не мог остановиться. До гансеновского дома было уже близко; дорога по валам отнимала не так много времени. Они придерживали шапки и наклоняли головы, защищая лица от сырого холодного ветра, стонавшего в голых трескучих кронах деревьев. Ганс Гансен говорил без умолку, а Тонио лишь изредка и довольно принужденно восклицал «ах» или «да», и то, что Ганс в увлечении снова взял его под руку, уже его не радовало: ведь то была только мнимая, ничего не значащая близость.

Они спустились к вокзалу, посмотрели на поезд с неуклюжей торопливостью громыхавший мимо них, от нечего делать пересчитали вагоны и помахали человеку в шубе, восседавшему на задней площадке последнего. На Линденплаце, перед домом Гансена, они остановились; Ганс наглядно и притом весьма обстоятельно доказал, как интересно кататься на калитке, под отчаянный визг петель. Затем они стали прощаться.

– Ну, мне пора! До свиданья, Тонио. В следующий раз я непременно пойду тебя провожать, будь уверен!

– До свиданья, Ганс, – отвечал Тонио. – Я с удовольствием прогулялся. – Они пожали друг другу руки, мокрые и вымазанные ржавчиной вследствие упражнений с калиткой. Но когда Ганс посмотрел в глаза Тонио, на его красивом лице изобразилось нечто вроде раскаяния.

– На днях непременно прочту «Дон Карлоса», – быстро проговорил он. – Должно быть, замечательная штука эта история с королем в кабинете, – Затем он сунул под мышку сумку с книгами и побежал через палисадник. Но прежде чем войти в дом, еще раз обернулся и кивнул головой.

Тонпо Крёгер, счастливый и просветленный, отправился восвояси.

Ветер дул ему в спину, но не только поэтому ему было теперь легко идти.

Ганс прочитает «Дон Карлоса», и у них будет что-то такое, во что не сунется ни Иммерталь, ни кто-либо еще! Как хорошо они понимают друг друга! Чего доброго, со временем он и Ганса приохотит писать стихи. Ист, нет, это уж лишнее! Ганс не должен быть похожим на него, пусть остается самим собой, жизнерадостным и сильным, каким все любят его и больше всех он, Тонио. А то, что Ганс прочтет «Дон Карлоса», ему не помешает!

Тонио прошел под старинными приземистыми городскими воротами, миновал гавань и стал круто подниматься по ветреной и мокрой улице к родительскому дому. Сердце его в эти минуты жило: оно было переполнено тоской, грустной завистью, легким презрением и невинным блаженством.

Белокурая Инге, Ингеборг Хольм, дочь доктора Хольма, жившего на Рыночной площади, посреди которой высился островерхий и затейливый готический колодец, была та, кого Тонно Крёгер полюбил в шестнадцать лет.

Как это случилось? Он сотни раз видел со и раньше. Но однажды вечером, в необычном освещении, он увидел, как она, разговаривая с подругой, задорно засмеялась, склонила голову набок, каким-то своим, особым жестом поднесла к затылку руку, не очень узкую, по слишком изящную и совсем еще детскую руку, и при этом белый кисейный рукав, соскользнув, открыл ее локоть, услышал, как она со свойственной только ей интонацией проговорила какое-то слово, обыкновенное, незначащее слово, но в голосе ее послышались теплые нотки – и его сердце в восхищении забило куда более сильно, чем некогда, когда он еще несмысленным мальчишкой глядел на Ганса Гансена.

В тот вечер он унес с собой ее образ: толстые белокурые косы, миндалевидные, смеющиеся синие глаза, чуть заметная россыпь веснушек на переносице. Он долго не спал, все ему слышались теплые нотки в ее голосе; он пытался воспроизвести интонацию, с какой она произнесла то незначащее слово, и вздрогнул. Опыт подсказал ему, что это любовь. И хотя он знал, что любовь принесет с собой много мук, горестей и унижений, что она нарушит мир в его сердце, наводнит его мелодиями и он лишится покоя, который нужен для всякого дела, для того, чтобы в тиши создать нечто Целое, он все же радостно принял ее, предался ей всем существом, стал ее пестовать всеми силами души, ибо знал: любить это богатство и-это жизнь, а он больше стремился быть богатым и жить, чем созидать в тиши.

Итак, Тонио Крёгер влюбился в резвую Инге Хольм; случилось это в гостиной консульши Хустеде, откуда в тот вечер была вынесена вся мебель, так как у Хустеде происходил урок танцев; отпрыски лучших семейств города обучались на этих уроках танцам и хорошим манерам. Они устраивались поочередно то в одном, то в другом родительском доме. Для этой цели из Гамбурга раз в неделю приезжал учитель танцев Кнаак.

Франсуа Кнаак звали его. И что это был за человек!

J'ai l'honneur de me vous représenter, – представлялся он, – топ ном ест Кнаак...[1 - Имею честь представиться, моя фамилия Кнаак... (франц.)] – Это произносится не во время поклона, а когда ты уже выпрямишься, – негромко, но явственно. Конечно, не каждый день случается отрекомендовывать себя по-французски, но тот, кто умеет делать это искусно и безупречно, на родном языке и подавно справится с такой задачей. Как замечательно облегал черный шелковистый сюртук жирные бока господина Кнаака! Брюки мягкими складками ниспадали на лакированные туфли, отделанные широкими атласными бантами, а его карие глаза взирали на мир, утомленные счастливым сознанием собственных неоспоримых совершенств...

Господин Кнаак прямо-таки подавлял всех преизбытком уверенности и благоприличия. Он направлялся к хозяйке, – ни у кого больше не было такой походки: упругой, гибкой; плавной, победоносной, – склонялся перед ней и ждал; пока ему протянут руку. Затем тихо благодарил, отступал, словно на пружинах, поворачивался на левой ноге, оттянув к низу носок правой, щелкал каблуками и удалялся, подрагивая бедрами.

Уходя из гостиной, полагалось с поклонами пятиться к двери; подавай стул, не хватать его за ножку, не волочить за собою, но нести, взявши за спинку, и бесшумно опустить на пол. И уж конечно, никак нельзя было стоять сложив руки на животе и высунув кончик языка; а если кто-нибудь все же позволял себе это, господин Кнаак умел так зло воспроизвести его позу, что у бедняги навек сохранялось к ней отвращение.

Таковы были уроки изящных манер. А уж в танцах господин Кнаак положительно не знал себе равных. В гостиной, откуда выносили всю мебель, горела газовая люстра и свечи на камине. Пол посыпался тальком, и безмолвные ученики стояли полукругом. В соседней комнате за раздвинутыми портьерами располагались на плюшевых креслах мамы и тетки и в лорнетки наблюдали за тем, как господин Кнаак, изогнувшись и двумя пальцами придерживая полы сюртука, упруго скачет, показывая ученикам отдельные фигуры мазурки. Если же ему хотелось окончательно сразить публику, он внезапно, без всякой видимой причины, отрывался от пола, с непостижимой быстротой кружил ногою в воздухе, дробно бил ею о другую ногу и с приглушенным, но тем не менее сокрушительным стуком возвращался на бrenную землю...

«Ну и обезьяна», – думал Тонио Крёгер. Однако он отлично видел, что Инге Хольм, резвая Инге, с самозабвенной улыбкой следит за движениями господина Кнаака; и уже одно это вынуждало его платить известную дань восхищения столь дивно управляемой плоти. Но до чего же спокойный и невозмутимый взор у господина Кнаака! Его глаза не проникают, в глубь вещей – там слишком много сложного и печального; они знают только одно, что они карие и красивые! Поэтому-то он и держится так горделиво:

Конечно, надо быть глупцом, чтобы выступать столь осанисто, но зато таких людей любят, а значит, они достойны любви. Тонио прекрасно понимал, почему Инге, прелестная белокурая Инге, не сводит глаз с господина Кнаака. Неужели ни одна девушка никогда не будет так смотреть на него, Тонио?

Нет, почему же, случилось и это. Вот, например, Магдалена Вермерен, дочь адвоката Вермерена, с нежным ртом и серьезным задумчивым взглядом больших темных блестящих глаз. Во время танцев она нередко падала; зато когда приходил черед дамам выбирать кавалеров, неизменно выбирала его. Магдалена знала, что он пишет стихи, раза два даже просила показать их и часто, понурив голову, издали смотрела на него. Но что ему до этого?

Ведь он любит Инге Хольм, веселую белокурую Инге, которая наверняка презирает его за кропанье стихов...

Он смотрел на нее, смотрел на ее миндалевидные голубые глаза, полные счастья и задора, и завистливая тоска и горечь сознания, что он отвергнут, навеки чужд ей, теснила и жгла его грудь...

– Первая пара en avant![2 - Вперед! (фр.)] – воскликнул господин Кнаак. И нет слов описать, как великолепно этот человек говорил в нос. Однажды, когда разучивали кадрили, Тонио Крёгер, к величайшему своему испугу, оказался в одном каре с Инге Хольм. Он, сколько возможно, избегал ее и тем не менее всякий раз оказывался рядом с ней; он запрещал своим глазам смотреть на нее, и тем не менее его взор всякий раз к ней обращался... Вот она об руку с рыжеволосым Матиссенем скользящими шагами подбежала, откинула косу за плечи и, задыхавшись, остановилась перед ним; тапёр, господин Хейнцельман, ударил своими костлявыми пальцами по Клавишам, господин Кнаак начал дирижировать кадрию.

Инге мелькала перед ним справа и слева, то плавно выступая, то стремительно кружась;

временами до него доносилось благоухание, исходившее от ее волос, а может быть – от легкой белой ткани платья, и взор его все мрачнел и мрачнел. «Я люблю тебя, чудная, прелестная Инге», – мысленно говорил он, вкладывая в эти слова всю свою боль, ибо, веселая, увлеченная танцем, она, казалось, вовсе его не замечала. Прекрасное стихотворение Шторма пришло ему на ум: «Хочу заснуть, а ты иди плясать».

Его мучила эта унижительная нелепость: человек любит, а его принуждают танцевать...

– Первая пара en avant! – воскликнул господин Кнаак; сейчас должна была начаться новая фигура, – Compliment! Moulinetdes dames!

Tour de main![3 - Поклон! Дамы – накрест! За руки – кружиться! (фр.)] Невозможно описать, с каким изяществом проглатывал он немое «е»

в словечке «de».

– Вторая пара en avant! – Это уже относилось к Тонио Крёгеру и его даме. – Compliment! – И Тонио Крёгер поклонился. – Moulinet des dames! – И Тонио Крёгер, опустив голову, нахмутив брови, кладет свою руку на руки четырех дам, на руку Инге Хольм... и начинает танцевать «moulinet».

Вокруг слышится хихиканье, смех: господин Кнаак принимает балетную позу, изображающую стилизованный ужас.

– Боже! – восклицает он. – Остановитесь! Остановитесь! Крёгер затесался к дамам! En arriere[4 - Назад (фр.)], фрейлейн Крёгер, назад, fi done![5 - Фи! (фр.)] Все поняли, кроме вас. Живо! Прочь, прочь назад! – Он вытащил желтый платок и, размахивая им, погнал Тонио Крёгера на место.

Все покатывались со смеху, юноши, девушки, дамы за портьерой, – господин Кнаак сумел так обыграть это маленькое происшествие, что зрители веселились, как в театре. Только господин Хейнцельман с сухой и деловитой миной дожидался, когда сможет снова приступить к своим обязанностям; на него эффектные выходки господина Кнаака уже не действовали.

Кадриль продолжалась. Затем был объявлен перерыв. Горничная внесла поднос, на котором звенели стаканчики с винным желе, за ней в кильватере шла кухарка с целой грудой кексов. Но Тонио Крёгер потихоньку ускользнул в коридор и стал, заложив руки за спину, перед окном со спущенными жалюзи, не сообразив, что сквозь жалюзи ничего нельзя увидеть, а потому смешно стоять и притворяться, будто смотришь на улицу.

Но он стоял и смотрел... в себя, в свою душу, изнывавшую от горести и тоски. Зачем, зачем он здесь? Зачем он не сидит у окна в своей комнате за чтением «Иммензее» Шторма, время от времени вглядываясь в сумеречный сад, где тяжело потрескивает старый орешник. Там его место. Пусть другие танцуют весело и ловко!.. Нет, нет, его место все-таки здесь, здесь он поблизости от Инге – не важно, что он одиноко стоит в коридоре, пытаюсь сквозь шум, звон и смех, в зале различить ее голос, звенящий теплом и радостью жизни. Какие у тебя миндалевидные голубые, смеющиеся глаза, белокурая Инге! Но такой красивой и радостной, как ты, можно быть только не читая «Иммензее» и не пытаюсь создать нечто подобное; и до чего же это печально!..

Почему она не идет? Почему не замечает, что он скрылся, не чувствует, что с ним происходит, почему не разыщет его потихоньку – хотя бы из одного лишь сострадания, не положит руку ему на плечо, не скажет: «Иди к нам, развеселись, я люблю тебя»? Он

прислушивался, не раздадутся ли шаги за его спиной, с неразумно бьющимся сердцем ждал ее прихода. Но она и не подумала прийти. В жизни так не бывает...

Неужели и она смеялась над ним, как все остальные? Да, конечно, смеялась, сколько бы он ни старался это опровергнуть – ради себя самого и ради нее тоже. А ведь он спутался в «moulinet des dames» только потому, что был всецело поглощен ею. Но не важно! Когда-нибудь они перестанут смеяться! Ведь принял же недавно один журнал его стихотворение; правда, оно так и не увидело света, но только потому, что журнал неожиданно прогорел и закрылся. Настанет день, когда он сделается знаменитым, когда будет печататься все, что он пишет, и тогда посмотрим, не произведет ли это впечатление на Инге Хольм... Нет, не произведет! В том-то и беда. На Магдалену Вермерен, которая вечно падает, на нее – бесспорно, но не на Инге Хольм, не на голубоглазую, веселую Инге. Так, значит, все тщетно?..

Сердце Тонио Крёгера болезненно сжалось при этой мысли. Больно почувствовать, как бродят в тебе чудодейственные силы задора и печали, и при этом знать, что те, к кому ты стремишься всей душой, замкнулись от тебя в веселой неприступности. И хотя он отчужденно и одиноко стоял перед опущенными жалюзи и в горести своей притворялся, будто через них можно что-то видеть, он все же был счастлив. Сердце его в это время жило.

Теплом и печалью билось оно для тебя, Ингеборг Хольм! Душа Тонио Крёгера в блаженном самоотречении принимала в себя твою белокурую, светлую, насмешливую и заурядную Маленькую особу.

Не раз стоял он, разгоряченный, в каком-нибудь укромном уголке, куда едва-едва доносились музыка, аромат цветов и звон бокалов, силясь в отдаленном шуме праздника уловить твой звонкий голос, страдал из-за тебя и все же был счастлив. Не раз мучился он тем, что с Магдаленой Вермерен, которая вечно падала, ему было о чем говорить, и она его понимала, отвечала серьезностью на серьезность и смеялась, если он был весел, тогда как белокурая Инге, даже сидя рядом с ним, оставалась далекой и чужой, ибо язык, на котором он говорил с ней, был ей непонятен. И все же он был счастлив. Ведь счастье, уверял он себя, не в том, чтобы быть любимым; это дает удовлетворение, смешанное с брезгливым чувством, разве что суетным душам. Быть счастливым – значит любить, ловить мимолетные, быть может, обманчивые мгновения близости к предмету своей любви. Он запечатлел в памяти эту мысль, вник в нее, прочувствовал ее до конца.

«Верность! – думал Тонио Крёгер. – Я буду верен тебе, буду любить тебя, Ингеборг, покуда я жив!» Намерения у него были благие. Но какой-то боязливый и печальный голос нашептывал ему, что ведь позабыл же он Ганса Гансена, хотя и видел его ежедневно. А самое гадкое и постыдное заключалось в том, что этот тихий и лукавый голос говорил правду: пришло время, когда Тонио Крёгер уже не был готов в любую минуту безропотно умереть за веселую Инге, ибо он чувствовал в себе потребность и силу совершить в этой жизни – на свой лад, конечно, – немало значительного.

Он кружил вокруг алтаря, на котором пылало пламя его любви, преклонял перед ним колена, бережно поддерживал и питал это пламя, ибо хотел быть верным. Но прошло еще немного времени, – и священный огонь, без вспышек и треска, неприметно угас.

А Тонио Крёгер продолжал стоять перед остывшим жертвенником, изумленный и разочарованный тем, что верности на земле не бывает. Затем он пожал плечами и пошел своей дорогой.

Он шёл дорогой, которой ему суждено было идти, шел несколько развинченным и неровным шагом и, потихоньку насвистывая, склонив голову набок, вглядывался в даль, а если ему и случалось сбиваться с пути, то лишь потому, что для многих вообще не существует пути прямого и верного. Когда его спрашивали, кем он в конце концов намерен стать, он отвечал то так, то этак, ибо любил говорить (и даже записал эту мысль), что в нем заложены возможности для тысяч разных форм бытия, впрочем, в глубине души сознавая, что это не так...

Нити, которыми он был привязан к родному, тесному городу, ослабли еще до того, как он его покинул. Старинный род Крёгеров, мало-помалу вырождавшийся, пришёл в полный упадок, и люди не без основания видели подтверждение этому в образе жизни и повадках Тонио. Умерла его бабка по отцу, старшая в роде, а вскоре за ней последовал и отец, высокий, изящно одетый, задумчивый господин с полевым цветком в петлице. Большой крёгеровский дом, заодно со своей долгой и почтенной историей, был объявлен к продаже, фирма перестала существовать. А мать Тонио, его пылкая красавица мать, так чудесно игравшая на рояле и на мандолине, которой все на свете было безразлично, по истечении годичного траура снова вышла замуж, на сей раз за музыканта с итальянской фамилией, и последовала за ним в голубые дали. Тонио Крёгер считал, что это, пожалуй, взбалмошный поступок; но разве он был вправе запрещать ей? Ведь он писал стихи и даже не умел ответить на вопрос, кем же он все-таки станет в жизни...

Он покинул родной город с его кривыми улочками, где над островерхими крышами свистал сырой ветер, покинул фонтан и старый орешник в саду, покинул друзей детства, море, которое так любил, и у него даже не защемило сердце. Ибо он сделался умным и взрослым, понял, что происходит с ним, и стал насмешливо относиться к тяжеловесному, низменному существованию, так долго окружавшему его.

Он всецело предался силе, казавшейся ему самой возвышенной на земле, силе, к служению которой считал себя призванным и которая сулила ему величие и почести, силе духа и слова, с улыбкой, господствующей над темной и немой жизнью. С юношеской страстью служил он ей, и в награду она дала ему то, что Могла дать, беспощадно взыскав с него все, что привыкла брать взамен.

Она обострила его зрение, позволила ему познать великие слова, которые распирают грудь человека, она открыла ему души людей и его собственную душу, сделала его ясновидцем и раскрыла перед ним сущность мира, то сокровенное, что таится за словами и поступками. И он увидел только смешное и убогое, убогое и смешное.

И тогда вместе с мукой и высокомерием познания пришло одиночество, ибо в кругу простодушных и веселых, но темных разумом его не терпели; клеймо на его челе вселяло в них тревогу. Зато все более жгучим становилось для него наслаждение словом и формой; он любил говорить (эту мысль он тоже для себя отметил), что проникновение в душу человека неминуемо ввергло, бы нас в ипохондрию, если бы радость выражения не сохраняла нам бодрость духа...

Он жил в больших городах, чаще на юге, так как полагал, что под южным солнцем пышнее взойдет его искусство. А может быть, это кровь матери влекла его в те края... И так как его безлюбное сердце было мертво, то он искал плотских утех, спускался в низины чувственности и нестерпимо мучился жгучей своей виной. Впрочем, здесь, быть может, сказало наследие отца этого высокого, задумчивого, тщательно одетого человека с полевым цветком в петлице; оно заставляло его страдать в низинах страсти и временами пробуждало в нем неясное, тоскливое воспоминание об утехах души, некогда столь доступных ему, а теперь от него ускользнувших.

Его охватили отвращение и ненависть к чувственности. Он томился по чистоте, по пристойной мирной жизни, а между тем вдыхал воздух искусства – теплый, сладостный, напоенный ароматами воздух непреходящей весны, в котором все движется, бродит и прорастает в тайном блаженстве созидания, Так вот и получилось, что он, безудержно кидаясь из одной крайности в другую, – от ледяных вершин духа к всепожирающему пламени низких страстей, все же вел изнурительную жизнь, жизнь распутную, неумеренную и беспорядочную, которая ему самому внушала отвращение.

«Какой ложный путь! – думал он временами. – Как могло случиться, что я пустился во все эти нелепые приключения? Я ведь не цыган из табора, а сын...»

Но в той же мере, в какой слабело его здоровье, изощрялось его писательское мастерство; оно становилось все более изысканным, привередливым, отшлифованным, тонким, нетерпимым к банальному и до крайности чувствительным в вопросах такта и вкуса. На первое его выступление в печати одобрительно и радостно отозвались те, кого искусство затрагивало за живое, ибо это было отлично сработанное произведение, полное юмора и проникновения в человеческие страдания. И в скором времени его имя, которое так брезгливо выговаривали учителя, то самое, которым Ён подписывал свои первые стихи, обращенные к орешнику, к фонтану, к морю, – имя, в звуке которого сочетались Юг и Север, бюргерское имя, чуть тронутое налетом экзотики, стало синонимом высокого подвига труда, ибо к болезненной остроте впечатлений он сумел прибавить редкостное долготерпение и честолюбивое усердие. Это усердие, боровшееся с прихотливой изощренностью вкуса, помогало Тонио Крёгеру, пусть в нестерпимых муках, создавать прекрасные произведения.

Он работал не так, как работают люди, для того чтобы жить, – нет, ничего, кроме работы, для него не существовало, ведь как человек он ни во что себя не ставил и значение свое усматривал лишь в творчестве; в жизни же бродил серый и невзрачный, точно актер, только что смытый грим, – ничтожество вне театральных подмостков. Тонио Крёгер работал молча, замкнуто, неприметно для чужого глаза, полный презрения к малым сим, для которых талант не более как изящное украшение, кто независимо от того, богат он или беден, ходит растрепанным и оборванным или щеголяет немислимим галстуком, думает только, как бы посчастливее, поприятнее, «поартистичнее» устроить свою жизнь, не подозревая, что хорошие произведения создаются лишь в борьбе с чрезвычайными трудностями, что тот, кто живет, не работает и что, собственно, надо умереть, чтобы творить великое искусство.

– Я не помешаю? – спросил Тонио Крёгер с порога мастерской.

Держа шляпу в руке, он стоял, почтительно склонившись, хотя Лизавета Ивановна была его другом и у него от нее не было никаких тайн.

– Домилуйте, Тонио Крёгер, зачем эти церемонии! – отвечала она с характерной для нее отрывистой интонацией. – Кому не известно, что вы получили хорошее воспитание и умеете вести себя в обществе! – С этими словами она переложила кисть в левую руку, в которой держала палитру, протянула ему правую и, покачав головой, со смехом взглянула ему прямо в глаза.

– Да, но вы работаете, – отвечал он. – Позвольте мне посмотреть.

О, вы изрядно продвинулись! – И он стал попеременно рассматривать эскизы в красках, прислоненные к спинкам стульев по обе стороны мольберта, и большой расчерченный квадратными клетками холст, где на фоне путаного, схематического наброска углем уже возникали первые красочные пятна.

Это было в Мюнхене, на Шеллингштрассе. Мастерская помещалась в верхнем этаже здания, стоявшего в глубине двора. За широким окном, глядевшим на северо-запад, царила синева небес, птичий щебет; солнце; юное сладостное дыхание весны, лившееся сквозь открытое окно, мешалось с запахом фиксатива и масляных красок, наполнявшим обширную мастерскую. Золотистый вечерний свет, не встречая преград, заливал нагие просторы мастерской, без стеснения освещал выщербленный пол, загроможденный кистями, тюбиками с краской и всевозможными бутылочками, некрашенный етол, этюды без рам на неоклеенных стенах, обветшавшую шелковую ширму неподалеку от дверей, за которой виднелся изящно меблированный уголок – спальня и одновременно гостиная, начатую картину на мольберте и смотревших на нее художницу и писателя.

На вид ей, как и ее другу, было лет тридцать с небольшим. В темносинем, перепачканном красками рабочем халате она сидела на низеньком стуле, подперев кулачком подбородок. Ее каштановые, стянутые в тугий пучок и чуть тронутые сединой волосы мягкими волнами ложились на виски, обрамляя смуглое, бесконечно привлекательное лицо славянского типа, со вздернутым носом, широкими скулами и маленькими черными сияющими глазами. Напряженно, взволнованно и недоверчиво щурясь, она вглядывалась в свою работу.

Тонио стоял подле нее; правой рукой он уперся в бок, а левой – быстро теребил свой каштановый ус. Его разлетные брови хмуро и нервно двигались; по обыкновению, он тихо что-то насвистывал. Одет он был чрезвычайно тщательно и солидно в превосходно сшитый костюм спокойного серого цвета. Его изборожденный трудом и мыслью лоб, на который так просто и аккуратно ложились расчесанные на пробор волосы, нервно подергивался, а типично южные черты лица, со временем обострившиеся, казались высеченными резцом, но его рот был нежно очерчен и мягко вылеплен подбородком... Точно очнувшись, он провел рукой по лбу, по глазам и отвернулся.

– Не надо было мне приходиться, – сказал он.

– Почему ж это, Тонио Крёгер?

– Я только что встал от работы, Лизавета, и в голове у меня как на этом вот холсте: бледный контур, весь исчерканный поправками набросок и два-три красочных пятна. Прихожу сюда – опять то же самое. Все конфликты и противоречия, замучившие меня дома, я вижу и здесь, – добавил он и потянул носом воздух. – Странная это штука! Если ты одержим какой-то мыслью, то она подстерегает тебя на каждом шагу, даже в воздухе ты чувствуешь ее запах. Фиксатив и аромат весны. Искусство, – так ведь? А что второе? Только не говорите «природа», Лизавета; «природа» – не исчерпывающее понятие. Нет, надо было мне идти гулять, хотя еще вопрос, лучше ли бы я себя почувствовал. Пять минут назад уже около вашего дома я встретил коллегу, новеллиста Адальберта. «Черт бы побрал ату весну, – заявил он своим обычным агрессивным тоном. – Всегда она была и будет самым гнусным временем года! Ну, скажите, Крёгер, приходит ли вам на ум хоть одна разумная мысль, можно ли спокойно обдумать хоть одну деталь и учесть ее воздействие, когда у вас непристойнейшим образом зудит что-то в крови и вас одолевает, уйма всяких посторонних впечатлений, которые при ближайшем рассмотрении оказываются ни на что не пригодной пошлятиной? Я лично сейчас отправляюсь в кафе. Это, знаете ли, нейтральная зона, которую не затрагивает смена времен года, отрешенная и, так сказать, возвышенная сфера искусства, где тебя осеняют лишь значительные мысли...» И он отправился в кафе; мне, наверно, следовало пойти вместе с ним.

Лизавета слушала и смеялась.

– Очень хорошо, Тонио Крёгер. «Непристойнейший зуд» – это очень хорошо. И по-своему он прав, работа весной не слишком спорится. Ну, а сейчас вы увидите, как я все-таки закончу одну деталь и «учту ее воздействие», как сказал бы Адальберт. А потом мы перейдем в «гостиную» пить чай, и вы сможете выговориться; я ведь вижу, что вам сегодня необходимо расстрелять свой заряд. А пока устраивайтесь где-нибудь, хоть на том вон ящике, если вы, конечно, не боитесь за свои патрицианские одежды...

Ах, оставьте в покое мои одежды, Лизавета Ивановна! Не разгуливать же мне в драной бархатной блузе или в красном шелковом жилете?

Человек, занимающийся искусством, и без того бродяга в душе. Значит, надо, черт возьми, хорошо одеваться и хоть внешне выглядеть добропорядочным... Да и заряда у меня никакого нет, – добавил он, глядя, как она смешивает краски на палитре. – Я ведь уже сказал, что только эта дилемма, это непримиримое противоречие сводят меня с ума и мешают мне работать... О чем мы, собственно, говорили? Да, о новеллисте Адальберте и о том, какой он гордый и решительный человек. Объявил, что «весна – гнуснейшее время года», и отправился в кафе. Ну что ж! Надо знать, чего хочешь. Так ведь? По правде говоря, весна и мне действует на нервы, и меня сбивает с толку чарующая тривиальность воспоминаний и ощущений, которые она вызывает к жизни; только я не решаюсь презирать и ругать ее за это, и потому не решаюсь, что мне стыдно перед ее чистой непосредственностью, победной юностью. И я не пойму, завидовать мне Адальберту или смотреть на него свысока за то, что он ничего этого не знает...

Что правда, то правда, весной работа не ладится. А почему? Потому что обострены все чувства. Ведь лишь простаки полагают, что творец-художник вправе чувствовать. Настоящий и честный художник только посмеется над столь наивным заблуждением дилетанта – не без грусти, быть может, но посмеется. То, о чем мы говорим, отнюдь не главное, а безразличный сам по себе материал, и, лишь возвысившись над ним, бесстрастный художник возводит все это в степень искусства. Если то, что вы хотите сказать, затрагивает вас за живое, заставляет слишком горячо биться ваше сердце, вам обеспечен полный провал. Вы впадете в патетику, в сентиментальность, и из ваших рук выйдет нечто тяжеловесно-неуклюжее, нестройное, безыронически-пресное, банально-унылое; читателя это оставит равнодушным, в авторе же вызовет только разочарование и горечь... Так! И ничего тут не поделаешь, Лизавета! Чувство, теплое, сердечное чувство, всегда банально и бестолково. Артистичны только раздражения и холодные экстазы испорченной нервной системы художника, надо обладать какой-то нечеловеческой, античеловеческой природой, чтобы занять удаленную и безучастную к человеку позицию и суметь, или хотя бы только пожелать, выразить человеческое, обыграть его, действительно, со вкусом его воплотить. Владенье стилем, формой и средствами выражения – уже само по себе предпосылка такого рассудочного, изысканного отношения к человеческому, а ведь это, по сути, означает оскудение, обеднение человека. Здоровые, сильные чувства – это аксиома – безвкусны. Сделавшись чувствующим человеком, художник перестает существовать. Адальберт это понял, а потому и отправился в кафе, в «возвышенную сферу», – да, да, это так!

– Ну и бог с ним, батюшка, – сказала Лизавета, моя руки в жестяной лоханке, – вас ведь никто не просит следовать за ним.

– Нет, Лизавета, я не пойду за ним, но только потому, что весна порой еще заставляет меня стыдиться моего писательства. Мне, видите ли, случается получать письма, написанные незнакомым почерком, хвалу и благодарность читателей, восторженные отзывы взволнованных людей. Читая эти письма, я поневоле бываю растроган простыми чувствами, которые пробудило мое искусство; меня охватывает даже нечто

вроде сострадания к наивному воодушевлению, которым дышат эти строки, и я краснею при мысли о том, как был бы огорошен такой человек, заглянув за кулисы; как была бы уязвлена его наивная вера, пойми он, что честные, здоровые и добропорядочные люди вообще не пишут, не играют, не сочиняют музыки...

Впрочем, эта растроганность не мешает мне своекорыстно использовать его восхищение, стимулирующее и поощряющее мой талант, да еще строить при этом серьезную мину, точно обезьяна, разыгрывающая из себя сановитого господина... Ах, не спорьте со мной, Лизавета! Уверю вас, порой я ощущаю смертельную усталость – постоянно утверждать человеческое, не имея в нем своей доли... Да и вообще, мужчина ли художник? Об этом надо спросить женщину. По-моему, мы в какой-то мере разделяем судьбу препарированных папских певцов... Поем невыразимо трогательно и прекрасно, а сами...

– Постыдились бы, Тонио Крёгер. Идите-ка лучше пить чай. Чайник уже закипает, и вот вам папиросы. Итак, вы остановились на мужском сопрано, можете продолжать с этого места. Но все-таки постыдитесь. Если бы я не знала, с какой гордой страстностью вы отдаетесь своему призванию...

– Не говорите мне о «призвании», Лизавета Ивановна! Литература не призвание, а проклятие, – запомните это. Когда ты начинаешь чувствовать его на себе? Рано, очень рано. В пору, когда еще нетрудно жить в согласии с богом и человеком, ты уже видишь на себе клеймо, ощущаешь свою загадочную несхожесть с другими, обычными, положительными людьми; пропасть, зияющая между тобой и окружающими, пропасть неверия, иронии, протеста, познания, бесчувствия становится все глубже и глубже; ты одинок – и ни в какое согласие с людьми прийти уже не можешь.

Страшная участь! Конечно, если твое сердце осталось еще достаточно живым и любвеобильным, чтобы понимать, как это страшно!.. Самолюбие непомерно разрастается, потому что ты один среди тысяч носишь это клеймо на челе и уверен, что все его видят. Я знавал одного высокоодаренного актера, которого, как только он сходил с подмостков, одолевала болезненная застенчивость и робость. Так действовало на гипертрофированное «я» этого большого художника и опустошенного человека отсутствие роли, сценической задачи... Настоящего художника – не такого, для которого искусство только профессия, а художника, отмеченного и проклятого своим даром, избранника и жертву, – вы всегда различите в толпе. Чувство отчужденности и неприкаянности, сознание, что он узан и вызывает любопытство, царственность и в то же время смущение написаны на его лице. Нечто похожее, вероятно, читается на лице властелина, когда он проходит через толпу народа, одетый в партикулярное платье. Нет, Лизавета, тут не спасет никакая одежда. Наряжайтесь во что угодно, ведите себя как атташе или гвардейский лейтенант в отпуску – вам достаточно поднять глаза, сказать одно-единственное слово, и всякий поймет, что вы не человек, а нечто чужеродное, стороннее, иное...

Да и что, собственно, такое художник? Ни на один другой вопрос невежественное человечество не отвечает со столь унылым однообразием.

«Это особый дар», – смиренно говорят добрые люди, испытавшие на себе воздействие художника, а так как радостное и возвышающее воздействие, по их простодушному представлению, непременно должно иметь своим источником нечто столь же радостное и возвышенное, то никому и в голову не приходит, сколь сомнителен и проблематичен этот «особый дар».

Всем известно, что художники легко уязвимы, а уязвимость обьчно несвойственна

людям с чистой совестью и достаточно обоснованным чувством собственного достоинства... Поймите, Лизавета, что в глубине , души – с переносом в область духовного – я питаю к типу художника не меньше подозрений, чем любой из моих почтительных предков там, на севере, в нашем тесном старом городке питал бы к фокуснику или странствующему актеру, случись такому забрести к нему в дом. Слушайте дальше.

Я знаю одного банкира, седовласого дельца, одаренного талантом новеллиста. К этому своему дару он прибегает в часы досуга, и, должен вам сказать, некоторые его новеллы превосходны. И вот, вопреки – я сознательно говорю «вопреки» – этой возвышенной склонности, его репутация отнюдь не безупречна; более того, он довольно долго просидел в тюрьме, и отнюдь не беспричинно. Только отбывая наказание, этот человек осознал свой дар, и тюремные впечатления стали главным мотивом его Творчества. Отсюда недалеко и до смелого вывода: чтобы стать писателем, надо обжиться в каком-нибудь исправительном заведении. Но разве тут же не начинаешь подозревать, что «тюремные тревобления» не столь изначально связаны с его творчеством, как те, что привели его в тюрьму. Банкир, пишущий новеллы, – это редкость, но добропорядочный, безупречный, солидный банкир, пишущий новеллы, – такого просто не бывает...

Вот вы смеетесь, а я ведь не шучу. Нет на свете более мучительной проблемы, чем проблема художественного творчества и его воздействия на человека. Возьмите, к примеру, удивительное творение наиболее типичного и потому наиболее действенного художника, возьмите его болезненное, в корне двусмысленное произведение, «Тристан и Изольда», и проследите воздействие этой вещи на молодого, здорового, нормально чувствующего человека. Вы увидите приподнятое состояние духа, прилив сил, искренний восторг, даже побуждение к собственному «художественному» творчеству... Милейший дилетант! У нас, художников, все обстоит поиному, так, как и не снилось ему с его «горячим сердцем» и «подлинным энтузиазмом». Я видел художников, окруженных восторженным поклонением женщин и юношей, а чего только я не знал о них... Во всем, что касается искусства, его возникновения, а также сопутствующих ему явлений и условий, приходится постоянно делать новые и удивительные открытия...

– И эти открытия вы делаете в других, Тонио Крёгер, простите меня, или не только в других?

Он молчал, нахмутив свои разлетные брови, и тихонько что-то насвистывал.

– Дайте сюда чашку, Тонио. У вас слабый чай. Вот папиросы, курите, пожалуйста. Вы сами отлично знаете, что не обязательно смотреть на вещи так, как смотрите вы...

– Ответ Горацио, милая Лизавета. «Это значило бы рассматривать вещи слишком пристально», не правда ли?

– Нет, я хочу сказать, что можно смотреть на них и по-другому, Тонио Крёгер. Я только глупая женщина, пишущая картины, и если у меня находится, что возразить вам, если мне иногда удастся защитить от вас ваше собственное призвание, то, конечно, не потому, что я высказываю какие-то новые мысли, – нет, я лишь напоминаю вам то, что вы и сами отлично знаете... По-вашему, выходит, что целительное, освящающее воздействие литературы, преодоление страстей посредством познания и слова, литература как путь к всепониманию, к всепрощению и любви, что спасительная власть языка, дух писателя как высшее проявление человеческого духа вообще, литератор как совершенный человек, как святой – только фикция, что так смотреть на вещи – значит смотреть на них недостаточно пристально?

– Вы вправе все это говорить, Лизавета Ивановна, применительно к творениям ваших

писателей, ибо достойная преклонения русская литература и есть та самая святая литература. Но я вовсе не упустил из виду ваших возможных возражений, напротив, они часть того, о чем я сегодня так неотвязно думаю... Посмотрите на меня. Вид у меня не слишком веселый, правда? Староватый, усталый, осунувшийся. Но так – возвращаясь к вопросу о «познании» – и должен выглядеть человек, от природы склонный верить в добро, мягкосердечный, благожелательный я немного сентиментальный, но которого вконец извели и измотали психологические прозрения. Преодолевать мировую скорбь, наблюдать, примечать, оправдывать даже самое странное – и сохранять бодрость духа, утешаясь сознанием своего морального превосходства над нелепой затеей, именуемой бытиём... да, конечно! Но ведь иногда, несмотря на радость выражения, человеку все же становится невмоготу. Все понять – значит все простить? Не уверен. Существует еще то, что я называю «познавательной брезгливостью», Лизавета: состояние, при котором человеку достаточно прозреть предмет, чтобы ощутить смертельное отвращение к нему (а отнюдь не примиренность). Это случай с датчанином Гамлетом, литератором до мозга костей. Он-то понимал, что значит быть призванным к познанию, не будучи для него рожденным. Провидеть сквозь слезный туман чувства, познавать, примечать, наблюдать – с усмешкой откладывать впрок плоды наблюдения даже в минуты, когда твои руки сплетаются с другими руками, губы ищут других губ, когда чувства помрачают твой взгляд, – это чудовищно, Лизавета, это подло, возмутительно... Но что толку возмущаться?

Другая, не менее привлекательная сторона всего этого – пресыщенность, равнодушие, безразличие, устало-ироническое отношение к любой истине; ведь не секрет, что именно в кругу умных, бывалых людей всегда царит молчаливая безнадежность. Все, что бы ни открылось вам, здесь объявляется уже устаревшим. Попробуйте высказать какую-нибудь истину, обладание которой доставляет вам свежую, юношескую радость, и в ответ вы услышите только пренебрежительное пофыркивание... Ах, Лизавета, тсак устаешь от литературы!

Наш скептицизм, нашу угрюмую сдержанность люди часто принимают за ограниченность, тогда как на самом деле мы только горды и малодушны.

Это о «познании». Что же касается «слова», то тут, возможно, все сводится не столько к преобразению, сколько к замораживанию чувства, к хранению его на льду, и правда, ведь есть что-то нестерпимо холодное и возмутительно дерзкое в крутой и поверхностной расправе с чувством посредством литературного языка. Вели сердце у вас переполнено, если вы целиком во власти какого-нибудь сладостного или высокого волнения, – чего проще? – сходите к литератору, и в кратчайший срок все будет в порядке. Он проанализирует ваш случай, найдет для него соответствующую формулу, назовет по имени, изложит его, сделает красноречивым, раз навсегда с ним расправится, устроит так, что вы станете к нему равнодушным, и даже благодарности не спросит. А вы пойдете домой остуженный, облегченный, успокоенный, дивясь, что, собственно, во всем этом могло каких-нибудь несколько часов назад повергнуть вас в столь сладостное волнение. И вы намерены всерьез заступаться за этого холодного, суетного шарлатана? Что выговорено, гласит его символ веры, с тем покончено. Если выговорен вееь мир, – значит, он исчерпан, преобразен, его более не существует... Отлично! Но я-то ие нигилист...

– Вы не... – начала Лизавета; она только что поднесла ко рту ложечку чая, да так и замерла в этом положении.

– Конечно, нет... Да очнитесь же, Лизавета? Повторяю, я не нигилист там, где дело идет о живом чувстве. Литератор в глубине души не понимает, что жизнь может продолжаться, что ей не стыдно идти своим чередом и после того, как она «выговорена», «исчерпана».

Несмотря на свое преображение (через литературу), она знай себе грешит по-старому, ибо с точки зрения духа всякое действие – грех...

Сейчас я доберусь до цели, Лизавета. Слушайте дальше. Я люблю жизнь, – это признание. Примите, сберегите его, – никому до вас я ничего подобного не говорил. Про меня немало судачили, даже в газетах писали, что я то ли ненавижу жизнь, то ли боюсь и презираю ее, то ли с отвращением от нее отворачиваюсь. Я с удовольствием это выслушивал, мне это льстило, но правдивее от этого такие домыслы; не становились. Я люблю жизнь... Вы усмехаетесь, Лизавета, и я знаю почему. Но, заклинаю вас, не считайте того, что я сейчас скажу, за литературу! Не напоминайте мне в Цезаре Борджиа или в какой-нибудь хмельной философии, поднимающей его на щит! Что он мне, этот Цезарь Борджиа, я о нем и думать не хочу и никогда не пойму, как можно возводить в идеал нечто исключительное, демоническое. Нет, нам, необычным людям, жизнь представляется не необычностью, не призраком кровавого величия и дикой красоты, а известной противоположностью искусству и духу: нормальное, добропорядочное, милое – жизнь во всей ее соблазнительной банальности – вот царство, по которому мы тоскуем. Поверьте, дорогая, тот не художник, кто только и мечтает, только и жаждет рафинированного, эксцентрического, демонического, кто не знает тоски по наивному, простодушному, живому, по малой толике дружбы, преданности, доверчивости, по человеческому счастью, тайной и жгучей тоски, Лизавета, по блаженству обыденности!

Друг! Верьте, я был бы горд и счастлив, найдись у меня друг среди людей. Но до сих пор друзья у меня были лишь среди демонов, кобольдов, завязанных колдунов и призраков, глухих к голосу жизни, – иными словами, среди литераторов.

Мне случается стоять на эстраде под взглядами сидящих в зале людей, которые пришли послушать меня. И вот, понимаете, я ловлю себя на том, что исподтишка разглядываю аудиторию, так как меня гвоздит вопрос, кто же это пришел сюда, чье это одобрение и чья благодарность устремляются ко мне, с кем пребываю я сегодня в идеальном единении благодаря моему искусству... И я не нахожу того, кого ищу, Лизавета. Я нахожу лишь знакомую мне паству, замкнутую общину, нечто вроде собрания первых христиан: людей с неловким телом и нежной душой, людей, которые, так сказать, вечно падают – вы понимаете меня, Лизавета? – и для которых поэзия – это возможность хоть немного да насолить жизни, – словом, нахожу только страдальцев, бедняков, тоскующих. А тех, других, голубоглазых, которые не знают нужды в духовном, не нахожу никогда...

Ну, а если бы все обстояло иначе? Радоваться этому было бы по меньшей мере непоследовательно. Нелепо любить жизнь и вместе с тем исхищряться в попытках перетянуть ее на свою сторону, привить ей вкус к меланхолическим тонкостям нездорового литературного аристократизма.

Царство искусства на земле расширяется, а царство здоровья и простодушия становится все меньше. Надо было бы тщательно оберегать то, что еще осталось от него, а не стараться обольщать поэзией людей, которым всего интереснее книги о лошадях, иллюстрированные моментальными фотографиями.

Ну можно ли себе представить что-нибудь более жалкое, чем жизнь, пробующая свои силы в искусстве? Мы, люди искусства, никого не презираем больше, чем дилетанта, смертного, который верит, что при случае он, помимо всего прочего, может стать еще и художником. Мне самому не раз приходилось испытывать это чувство.

Я нахожусь в гостях в добропорядочном доме: все едят, пьют, болтают, все дружелюбно настроены, и я счастлив и благодарен, что мне удалось, как равному среди равных, раствориться в толпе этих обыкновенных правильных людей. И вдруг (я не раз бывал

тому свидетелем) поднимается с места какой-нибудь офицер, лейтенант, красивый малый с отличной выправкой, которого я никогда не заподозрил бы в поступке, пятнающем честь мундира, и самым недвусмысленным образом просит разрешить ему прочитать стихи собственного изготовления. Ему разрешают, не без ему щенной улыбки. Он вытаскивает из кармана заветный листок бумаги и читает свое творенье, славящее музыку и любовь, – одним словом, нечто столь же глубоко прочувствованное, сколь и бесполезное. Ну, скажите на милость! Лейтенант! Властелин мира! Ей-богу же, это ему не к лицу! Дальше все идет, как и следовало ожидать: вытянутые физиономии, молчанье, знаки учтвого одобрения и полнейшее уныние среди слушателей. И вот первое душевное движение, в котором я отдаю себе отчет: я – совиновник замешательства, вызванного опрометчивым молодым человеком. И действительно, на меня, именно на меня, чье ремесло он испоганил, обращены насмешливые, холодные взгляды. И второе: человек, которого я только что искренне уважал, начинает падать в моих глазах, падать все ниже и ниже...

Меня охватывает благожелательное сострадание. Вместе с несколькими другими снисходительными свидетелями его позора я подхожу к нему и говорю: «Примите мои поздравления, господин лейтенант! У вас премилое дарованье! Право же, это было прелестно!» Еще мгновенье, и я кажется, похлопаю его по плечу. Но разве сострадание – то чувство, которое должен вызывать юный лейтенант?.. Впрочем, сам виноват.

Пускай теперь стоит как в воду опущенный и кается в том, что полагал, будто с лаврового деревца искусства можно сорвать хоть единый листок, не заплатив за него жизнью. Нет, уж я предпочитаю другого своего коллегу – банкира-уголовника. А кстати, Лизавета, вам не кажется, что я сегодня одержим гамлетовской словоохотливостью?

– Вы кончили, Токио Крёгер?

– Нет, но больше я ничего не скажу.

– Да и хватит с вас. Угодно вам выслушать мой ответ?

– А у вас есть что ответить?

– Пожалуй: Я внимательно слушала вас, Тонио, от начала до конца, и мой ответ будет относиться ко всему, что вы сегодня сказали, и кстати явится разрешением проблемы, которая вас так беспокоит. А разрешение это состоит в том, что вы, вот такой, какой вы сидите здесь передо мною, обыкновеннейший бюргер.

– Неужто? – удивился он и весь как-то сник...

– Вас это, видимо, больно задело, да и не могло не задеть. А потому я слегка смягчу свой приговор, на это я имею право. Вы бюргер на ложном пути, Тонио Крёгер! Заблудший бюргер...

Молчание. Он решительно поднялся, взял шляпу и трость.

– Спасибо, Лизавета Ивановна. Теперь я могу спокойно отправиться домой. Вы меня доконали.

Ближе к осени Тонио Крёгер сказал Лизавете Ивановне:

– Я решил уехать, Лизавета: мне нужно проветриться, пожить в чужих краях.

– Вы что ж, батюшка, опять в Италию собрались?

– Ах, оставьте меня с вашей Италией, Лизавета! Она мне опостылела... Прошли времена, когда я воображал, что жить без нее не могу. Страна искусства – так ведь? Бархатная голубизна небес, вино, горячащее кровь, и сладостная чувственность... Все это не по мне. Даже думать об Италии не хочу. Вся эта *bellezza* [б - Красота (ит.)] действует мне на нервы. Вдобавок я не переношу волооких живчиков-южан. У этих римлян нет совести в глазах... Я хочу немножко пожить в Дании.

– В Дании?

– Да. И думаю, что это будет для меня не бесполезно... Я почему-то ни разу туда не добирался, хотя всю юность прожил у самой датской границы; тем не менее я всегда знал и любил эту страну. Такие северные симпатии у меня, наверное, от отца, потому что моя мать, конечно, любила *bellezza* в той мере, в какой она вообще могла что-нибудь любить. Вспомните, Лизавета, хотя бы, какие там, на севере, пишут книги глубокие, чистые, полные юмора. Я от них без ума. А скандинавский стол? Эти ни с чем не сравнимые кушанья, которые переносятся только в насквозь просоленном воздухе (впрочем, я не уверен, что способен теперь перенести их), я их немного знаю еще по юношеским воспоминаниям, потому что в наших краях едят точно так же. Или возьмите имена и фамилии тамошних жителей – у меня на родине они тоже частенько встречаются. Ингеборг, например, – ведь это как звук арфы, чистейшая поэзия! А море! У них там Балтийское море!.. Короче говоря, я еду туда, Лизавета. Хочу опять видеть Балтийское море, слышать эти имена, читать эти книги в тех местах, где они возникли; и еще хочу постоять на террасе Кронборга, где дух отца явился Гамлету и обрек на страдания и смерть злополучного благородного юношу...

– Разрешите спросить, Тонио, как вы поедете? Какой вы себе наметили маршрут?

– Обычный, – отвечал он, пожимая плечами, но при этом покраснел. – Я думаю проехать через... мою исходную точку, Лизавета; после тринадцати лет это, пожалуй, будет забавно.

Она улыбнулась.

– Вот то, что я хотела услышать, Тонио Крёгер. Поезжайте, с богом.

Не забудьте только написать мне, идет? Я надеюсь получить письмо, полное впечатлений от вашей поездки... в Данию.

И Тонио Крёгер уехал на север. Путешествовал он с комфортом (ибо нередко говорил, что люди, которым внутренне приходится намного трудней, чем другим, имеют право на известные внешние удобства), нигде не останавливаясь, покуда в сером воздухе не обрисовались перед ним башни тесного города, из которого он некогда пустился в странствие.

Там он ненадолго остановился. Странные это были дни.

Уже вечерело, когда поезд подошел к узкому дебаркадеру прокопченного, до странности знакомого вокзала, под грязной стеклянной крышей скапливались клубы дыма и длинными лохмотьями колыхались из стороны в сторону, как в ту пору, когда Тонио Крёгер с одной лишь насмешкой в сердце уезжал отсюда. Он получил свой багаж, велел свезти его в гостиницу и вышел из здания вокзала.

А вот и вереница местных пароконных извозчиков: черные, несоразмерно высокие

пролетки с широким сиденьем. Он не воспользовался их услугами, только посмотрел на них, как смотрел на все: на узкие фронтоны и островерхие башни, казалось приветливо кивавшие ему из-за соседних крыш, на белокурых, неповоротливых людей, говорящих протяжно, но быстро, и нервный смех, чем-то напоминавший всхлипывание, овладел им. Он медленно пошел пешком, – сырой ветер непрерывно и тяжело дул ему в лицо, – через мост, вдоль перил которого стояли мифологические статуи, и дальше вдоль гавани.

Бог ты мой, до чего же все здесь криво и тесно! Неужто эти узкие улочки всегда так круто поднимались в гору? Трубы и мачты судов тихонько покачивались в ветреной мгле над унылой рекою. Пойти вверх по той вон улице, где стоит дом, о котором он думает? Нет, завтра. Ему так хочется спать: голова его отяжелела от долгой езды, смутные мысли медленно шевелятся в ней.

В течение этих тринадцати лет, когда у него бывал не в порядке желудок, ему случалось видеть во сне, что он опять в родном городе, в старом гулком доме, на крутой улице, отец его жив и строго выговаривает ему за беспечный образ жизни, а он, Тонио, считает это в порядке вещей. Окружавшая его теперь действительность ничем не отличалась, от той одуряющей, липкой паутины снов, когда спрашиваешь себя, что это – обман или явь, поневоле решаешь: конечно, явь – и... просыпаешься. Он шел как лунатик, по малолюдным улицам, наклоняя голову, чтобы защитить лицо от сквозного ветра, прямо к лучшей гостинице, где намеревался переночевать. Кривоногий человек с длинным шестом, на конце которого теплился огонек, враскачку, по-матросски, шагал перед ним, зажигая газовые фонари. Что творилось в душе Тонио Крёгера? Что там тлело под пеплом усталости, болезненно и сумрачно, не смея разгореться пламенем? Тише, тише, не надо слов! Слов не надо! Он бы хотел еще долго идти на ветру по сумрачным, сонно-знакомым улицам. Но все здесь так тесно, так скученно.

До любой цели – рукой подать.

В верхнем городе фонари были дуговые; они как раз вспыхнули. А вот и подъезд гостиницы с двумя черными львами, которых он в детстве боялся. Львы все еще смотрят друг на друга с таким видом, словно собираются чихнуть, – только ростом они стали поменьше. Тонио Крёгер прошел между ними.

Он пришел пешком и потому был принят без особого почета. Портье и весьма элегантный господин в черном костюме, то и дело мизинцем заталкивавший в рукава манжеты, обязанностью которого было встречать новых постояльцев, смерил его с головы до пят испытующим взглядом, явно – стремясь установить его общественное положение и определить место занимаемое им на иерархической лестнице, чтобы соответственно воздать гостю большую или меньшую дань уважения. Не придя, видимо, к достаточно успокоительным выводам, он заговорил с ним умеренно вежливо.

Кельнер, тихий мужчина с узкими белокурыми баками, в залоснившемся от долгой носки фраке и с бантами на мягких туфлях, повел его на второй этаж, в опрятный номер со старомодной мебелью, где из окна открывался живописный средневековый вид на дворы, фронтоны и причудливое здание церкви напротив гостиницы. Тонио Крёгер постоял у окна, затем, скрестив руки, сел на широкий диван, нахмурил брови и стал тихонько что-то насвистывать.

В номер внесли лампу и багаж. Тихий кельнер положил на стол регистрационный бланк гостиницы, и Тонио Крёгер, склоняв голову набок, нацарапал на нем какие-то каракули; на худой конец, они могли сойти за «имя, род занятий и откуда приехал». Покончив с этим, он заказал легкий ужин и, забившись в угол дивана, опять уставился в пустоту. Когда подали ужин, он еще долго не прикасался к нему; наконец поковырял вилкой какое-то

блюдо и с добрый час проходил взад и вперед по комнате, временами останавливаясь и закрывая глаза. Затем медленно разделся и лег в постель. Спал он долго, и ему снились путаные, удивительно тоскливые сны.

Проснувшись, он увидел залитую дневным светом комнату, торопливо припомнил, где находится, и вскочил, чтобы открыть шторы. Синий небосвод, чуть-чуть поблекший, – лето уже клонилось к осени, – был испещрен тоненькими, прозрачными, разлохмаченными ветром клочками облаков, но солнце ярко светило над его родным городом.

Он заботливее, чем когда-либо, занялся своим туалетом, тщательно умылся, выбрился, придал себе такой свежий и опрятный вид, словно собирался отправиться с визитом в благоприличный дом, где необходимо произвести во всех отношениях безукоризненное впечатление; одеваясь, он прислушивался к боязливому биению своего сердца.

До чего же светло! Лучше бы улицы, как вчера, были окутаны мглой; теперь ему придется в ярком солнечном свете проходить под взглядами местных жителей.. Может ли быть, что он натолкнется на знакомых, которые остановят его, начнут расспрашивать о том, как и где он провел эти тринадцать лет? Нет, слава богу, никто его здесь больше-не помнит, а если и помнит, то не узнает, право же, он немало изменился за эти годы. Он внимательно поглядел на себя в зеркало и вдруг успокоился: под этой маской его невозможно узнать, у него не по возрасту изможденное, преждевременно состарившееся лицо... Он позавтракал у себя в номере, спустился вниз, провожаемый критическими взглядами портье и элегантного господина в черном, прошел между двух львов и удалился.

Куда он шел? Вряд ли он сам это знал. Все было как вчера. Едва он вновь очутился среди этой удивительно величавой, спокон веку знакомой тесноты фронтонов, башенок, аркад и колодцев, едва почувствовал напор Ветра, сильного ветра, несшего ему навстречу нежный и пряный запах полузабытых снов, как все его чувства обволокло пеленой, туманной дымкой... Мускулы его лица ослабли, умиротворенным взором смотрел он на людей и предметы. Может быть, на том вон углу он все-таки проснется.

Куда он шел? Ему казалось, что направление, им избранное, находится в какой-то связи с печальными и покаянными сновидениями этой ночи.

Через аркады ратуши он шел на Рыночнуктлощадь, где мясники окровавленными руками отвешивали свой товар, туда, где стоял высокий колодец в готическом стиле. На площади он остановился перед одним из домов, невзрачным и похожим на все соседние, только что с высоким резным фронтоном, и углубился в созерцание. Он прочитал имя на дверной дощечке, поглядел сначала на одно окно, перевел взгляд на другое, третье...

Затем неторопливо повернулся и пошел.

Куда он шел? К родному дому. Но он сделал крюк и прогулялся за городские ворота, времени у него было предостаточно. Он шел по Мельничному и Голштинскому валам, руками придерживая шляпу от ветра, что шелестел и трещал в сучьях деревьев. Неподалеку от вокзальной площади он спустился вниз, поглядел на поезд, прогромыхавший мимо с неуклюжей торопливостью, от нечего делать пересчитал вагоны и посмотрел на человека, сидевшего на площадке последнего. Но на Линденплаце он остановился перед нарядной виллой, загляделся на сад, потом долго всматривался в окна и в конце концов даже стал раскачивать взад и вперед калитку, так что петли ее завизжали. Затем он некоторое время смотрел на свою руку, похолодевшую, со следами свежей ржавчины, и двинулся дальше; он прошел через старые приземистые ворота, прогулялся вдоль гавани и по крутой ветреной улице стал подниматься к

родительскому дому.

Дом этот стоял, зажатый соседними, более высокими домами, серый и угрюмый, как триста лет назад; Тонио Крёгер прочитал полустершееся благочестивое реченье над входом, вздохнул и вошел в сени.

Сердце его боязливо стучало, он как будто ждал, что вот сейчас из дверей конторы выйдет отец, в рабочем костюме, с пером за ухом, и начнет распекать его за безалаберную жизнь и он, Тонио, сочтет это в порядке вещей. Но он прошел, и никто его не остановил. Дверь тамбура была не заперта, а только притворена, он невольно отметил это как непорядок, хотя чувствовал себя, точно в приятном сне, когда препятствия рушатся сами собой и ты, ведомый на редкость счастливой звездой, невозбранно устремляешься вперед... В обширных сенях, высланных большими четырехугольными каменными плитами, гулко отдавались его шаги. Напротив кухни, откуда не доносилось ни единого звука, на довольно большой высоте, как и встарь, тянулись какие-то странные, нескладные, но тщательно покрашенные галерейки – помещения для прислуги, попасть туда можно было только по крутой наружной лестнице. Но больших шкафов и резного ларя, что тогда стояли здесь, больше не было,.. Сын прежнего хозяина стал подниматься по широкой лестнице, опираясь рукой о-белые полированные перила; он то отнимал руку, то, поднявшись на несколько ступенек, снова опускал ее, словно пытаясь восстановить былую, короткость с этими старыми, надежными перилами... На площадке, перед входом в антресоли, он остановился. К дверям – была прибита белая дощечка, и на ней черными буквами стояло: «Народная библиотека».

«Народная библиотека?» Тонио Крёгеру подумалось, что это не место ни для литературы, ни для народа. Он постучался...

– Войдите, – ответили из-за двери; он поспешил воспользоваться разрешением и вошел, напряженно и мрачно вглядываясь в происшедшие здесь неподобающие перемены.

В глубь антресолей шли три комнаты, двери, соединявшие их, были открыты настежь. Книги в одинаковых переплетках стояли на полках почти во всю вышину стен. В каждой комнате за, каким-то сооружением, напоминающим прилавок, сидел худосочный мужчина и что-то писал. Двое из них едва повернули головы в сторону Тонио Крёгера, третий же вскочил, оперся руками о стоя; вытянул шею, сложил губы трубочкой, поднял брови, поморгал глазами и уставился на посетителя.

– Прошу прощения, – сказал Тонио Крёгер, не сводя глаз со всех этих книг. – Я приезжий и осматриваю город. Так это, значит, здешняя народная библиотека? Не разрешите ли мне ознакомиться с подбором книг?

– Милости просим, – отвечал чиновник и еще быстрее заморгал глазами, – это каждому дозволено. Пожалуйста... может быть, вам угодно воспользоваться каталогом?

– Благодарю вас, – отвечал Тонио Крёгер. – Я и так разберусь. – И медленно пошел вдоль стен, притворяясь, будто изучает названия на корешках. В конце концов он все же вынул одну книгу, раскрыл ее и встал с нею у окна.

В этой комнате была малая столовая. По утрам они всегда завтракали здесь, а не наверху, в большой столовой, где с голубых шпалер, казалось, выступали белые статуи богов... А следующая служила спальней. Мать его отца, жизнелюбивая светская-дама, умерла в ней, после того как, несмотря на свой преклонный возраст, долго и упорно боролась со смертью. Позднее и его отец испустил там свой последний вздох, высокий, элегантный, немного меланхоличный и задумчивый господин с полевым цветком в

петлице... Тонио сидел в ногах его смертного одра, с покрасневшими глазами, честно отдавшись молчаливому сильному чувству любви и горести. Мать, его красивая, пылкая мать, стояла на коленях, исходя горячими слезами; вскоре она уехала в голубые дали с музыкантом-южанином... А та последняя, третья и самая маленькая комната, тоже битком набитая книгами, которые охранял худосочный мужчина, в течение долгих лет была его комнатой. В нее он возвращался из школы после такой же вот прогулки, как сегодня; у той стены стоял стол, в ящик которого он складывал свои первые простодушные, беспомощные вирши. Старый орешник... Колючая грусть пронизала его. Он бросил взгляд в окно. В саду было пустынно, но старый орешник стоял на своем месте, тяжело поскрипывая и шелестя на ветру. И Тонио Крёгер опустил глаза на книгу, которую держал в руках, – выдающееся и хорошо ему известное литературное произведение. Он смотрел на черные строчки и абзацы, некоторое время следил за искусным течением рассказа, за тем, как он, все более насыщаясь страстью, поднимался до кульминационной точки и потом эффектно шел на спад...

– Да, это хорошо сделано, – сказал он, поставил книгу на место и оборотился. Он увидел, что библиотекарь все еще стоит, моргает и смотрит на него со смешанным выражением услужливости и задумчивого недоверия.

– Превосходный подбор, – заметил Тонио Крёгер. – Общее представление у меня уже составилось. Весьма вам обязан. Всего наилучшего. – И он направился к двери. Это был странный уход, и он ясно чувствовал, что обеспокоенный библиотекарь еще долго простоит, удивленно моргая глазами. Дальше идти ему не хотелось. Он побывал дома. Наверху, в больших комнатах за колонной залой, жили чужие люди; он это понял, потому что лестница здесь была перегороджена стеклянной дверью, которой раньше не было; на двери висела дощечка с каким-то именем. Он повернул назад, спустился вниз, прошел по гулким сеням и покинул родительский дом.

Погруженный в свои мысли, он забился в уголок какого-то ресторана, съел тяжелый жирный обед и вернулся в гостиницу.

– Я покончил с делами, – объявил он изящному господину в черном, и сегодня вечером уезжаю. – Он велел подать счет, заказал экипаж, чтобы ехать в гавань, где стоял пароход, отправлявшийся в Копенгаген, поднялся к себе в номер и сел за стол. Он долго сидел без движения, подперев рукой щеку, и невидящим взглядом смотрел перед собою. Немного позднее он расплатился по счету и упаковал вещи. Точно в назначенное время ему доложили, что экипаж подан, и Тонио Крёгер, уже совсем готовый к отъезду, спустился вниз.

В вестибюле у лестницы его дожидался изящный господин в черном.

– Прошу прощения, – сказал господин и мизинцем затолкнул манжету в рукав. – Извините, сударь, но мы вынуждены отнять у вас еще минутку времени. Господин Зеехазе, хозяин гостиницы, покорнейше просит вас на два слова. Пустая формальность. Он дожидается вас вон в той комнате... Не будете ли вы так добры пройти со мною... Господин Зеехазе, хозяин гостиницы, там совершенно один.

И, жестами приглашая Тонио Крёгера следовать за ним, он повел его в глубь вестибюля. Там и вправду стоял господин Зеехазе. Тонио Крёгер с детства помнил его. Это был жирный кривоногий человек. Его аккуратно подстриженные бакенбарды успели поседеть, хотя он по-прежнему носил очень открытый смокинг и зеленую бархатную ермолку. Но он был там не один. Возле него у конторки стоял полицейский в шлеме, его рука в перчатке покоилась на густо исписанном клочке бумаги, а на честном солдатском лице явно выражалось удивление; он ждал, что при виде его Тонио Крёгер тут же

провалится сквозь землю.

– Вы прибыли из Мюнхена? – осведомился наконец полицейский густым и добродушным басом.

Тонио Крёгер этого не отрицал.

– И едете в Копенгаген?

– Да, я еду на датский приморский курорт.

– Курорт?.. А ну, предъявите-ка ваши документы, – сказал полицейский; последнее слово он выговорил, казалось, с особенным удовлетворением.

– Документы... – Документов у Тонио не было. Он вытащил из кармана бумажник и заглянул в него: кроме нескольких кредитных билетов, там лежала еще только корректура рассказа, которую он собирался просмотреть, приехав на место. Тонио не любил иметь дело с чиновниками и так и не удосужился выправить себе паспорт.

– Весьма сожалею, – сказал он, – но никаких бумаг у меня при себе нет.

– Ах, вот оно что! – заметил полицейский, – Так-таки никаких?

Ваша фамилия?

Тонио Крёгер назвал себя.

– И это правда?! – Полицейский приосанился и вдруг широко раздул ноздри.

– Чистая правда, – отвечал Тонио Крёгер.

– Кто же вы есть?

Тонио Крёгер проглотил слюну и твердым голосом назвал свою профессию. Господин Зеехазе поднял голову и с любопытством посмотрел ему в лицо.

– Гм! – буркнул полицейский. – И вы утверждаете, что вы не некий тип, по имени... – сказав «тип», он по складам прочитал написанное на исчерканной бумажке мудреное романское имя, как бы составленное из разноязычных звуков и немедленно выскользнувшее из памяти Тонио, – ...который, – продолжал он, – будучи сыном неизвестных родителей и не имея постоянного местожительства, преследуется мюнхенской полицией за ряд мошеннических проделок и прочих противозаконных действий и, по имеющимся у нас сведениям, намерен бежать в Данию.

– Я не только утверждаю это, а так оно и есть, – сказал Тонио Крёгер и нервно передернул плечами, что произвело некоторое впечатление.

– Как вы сказали? Ага, ну понятно, – сказал полицейский. – Но как же это вы так, без документов?

Тут умиротворяюще вмешался господин Зеехазе.

– Все это только формальность, и ничего больше, – сказал он. – Примите во внимание, сударь, что он выполняет свой долг. Если бы вы могли предъявить хоть что-нибудь,

удостоверяющее вашу личность...

любой документ...

Все молчали. Не положить ли конец этой истории, назвав себя? Не открыть ли наконец господину Зеехазе, что он, Тонио, не авантюрист без определенного местожительства, не цыган из табора, но сын консула Крёгера, отпрыск именитого рода Крёгеров? Нет, этого ему не хотелось.

С другой стороны, эти люди, стоящие на страже законопорядка, не так уж не правы. В какой-то степени он одобрял их... Тонио Крёгер пожал плечами и не проговорил ни слова.

– Что это у вас там в бумажнике? – заинтересовался полицейский.

– В бумажнике? Ничего. Это корректура, – отвечал Тонио Крёгер.

– Корректура? А ну, давайте ее сюда.

И Тонио Крёгер вручил ему свой труд. Полицейский положил листы на конторку и стал читать. Господин Зеехазе разделил с ним это удовольствие.

Тонио Крёгер посмотрел, какое место они читают. Место было как раз удачное, чрезвычайно тонкий ход и великолепно отработанный эффект. Он остался доволен собой.

– Вот смотрите, – сказал он, – тут стоит мое имя. Я написал эту вещь, а теперь она будет опубликована, понятно?

– Этого достаточно, – решил господин Зеехазе, собрал листы, сложил их и отдал автору. – Хватит с вас, Петерсен, – внушительно повторил он таинственно прищурившись, и покачал головой, как бы кивая отъезжающему. – Нельзя дольше, задерживать этого господина. Экипаж ждет.

Покорнейше прошу извинить за беспокойство. Петерсен только выполнял свой долг, хотя я сразу же сказал, что он пустился по ложному следу.

«Врешь, голубчик», – подумал Тонио Крёгер.

Полицейский был, видимо, не совсем удовлетворен таким решением, он еще пробурчал что-то о «некоем типе» и «предъявлении документов». Но господин Зеехазе, продолжая рассыпаться в извинениях, уже вел своего постояльца мимо львов к экипажу, чтобы с почтительным видом собственноручно посадить его. И до смешного высокая извозчичья пролетка с широким сидением, подсакивая и звеня, загромыхала по наклонным улицам вниз к гаёани...

Так странно закончилось пребывание Тонио Крёгера в родном городе.

Настала ночь, и в серебряном влажном сиянии поднялась луна, когда пароход, на котором плыл Тонио Крёгер, вышел в открытое море. Он стоял у бушприта, зябко кутаясь в пальто от все крепчавшего ветра, и смотрел в темноту, где мельтешили грузные, гладкотельные валы, которые то тупо терлись друг о друга, то с грохотом сталкивались, неожиданно кидались врассыпную и вдруг вспыхивали пеной...

Успокоенное и радостно-тихое настроение овладело им. Он был все же несколько

озадачен тем, что в родном городе его собирались арестовать как авантюриста, хотя, с другой стороны, и считал это в порядке вещей. Но потом, уже стоя на палубе, он снова начал, как в детстве, когда бывал с отцом в гавани, следить за погрузкой клади в бездонную утробу парохода, сопровождавшейся громкими возгласами на каком-то смешанном датсконижнемецком наречии; он видел, как в трюм вслед за тюками и ящиками спустили железные клетки с белым медведем и королевским тигром, видимо, переправляемыми из Гамбурга в один из датских зверинцев, и это развлекло его. Покуда пароход скользил меж плоских берегов вниз по реке, он успел начисто забыть допрос полицейского Петерсена, и в душе его с прежней силой оживило все, что было до этого: сладостные, печальные и покаянные сновидения, прогулка, которую он совершил, старый орешник. А теперь, когда перед ним открылось море, он смотрел на далекий берег; на этой вот песчаной полосе ему дано было, еще ребенком, подслушать летние грезы моря; вот яркий свет маяка и огни кургауза, где он жил когда-то, с отцом и матерью...

Балтийское море! Он подставлял голову соленому ветру, тому, что налетает безудержно-вольно, наполняет гулом уши, кружит голову и обволакивает человека таким дурманом, такой ленивой истомой, что в памяти гаснет все зло, все муки и блуждания, все мечты и усилия. Ему казалось, что в свисте ветра, в рокоте, плеске, кипенье пены слышится шелест и потрескивание старого орешника, скриц садовой калитки... Ночь становилась все темней и темней.

– Звезды-то, господи! Вы только посмотрите, что за звезды! – внезапно, как из бочки, проговорил чей-то тягучий голос, Тонио Крёгер узнал его. Этот голос принадлежал рыжему, простовато одетому человеку с красными веками, имевшему такой промокший и озябший вид, словно его только что вытащили из воды. За ужином в кают-компании он был соседом Тонио Крегера и робкими, нерешительными движениями накладывал себе на тарелку умопомрачительные порции омлета с омарами. Сейчас он стоял рядом с ним, облокотись на фальшборт, и смотрел в небо, защемив подбородок большим и указательным пальцами. Он, без сомнения, пребывал в том необыкновенном и торжественно-созерцательном настроении, когда рушатся перегородки между людьми, сердце открывается первому встречному и с губ слетают слова, которые в другое время стыдливо замерли бы на них...

– Вы только посмотрите, сударь, что за звезды! Все небо усыпали и знай себе сверкают, ей-богу! Вот как посмотришь да подумаешь, что многие из них раз в сто больше нашей земли, то на душе, ей-богу, такое творится... Мы, люди, придумали телеграф и телефон и еще кучу всяких современных новинок, – что правда, то правда. А как посмотришь на звезды, сразу понимаешь, что, в сущности, мы только черви, жалкие черви, и ничего больше. Согласны вы со мной, сударь? Да, да, черви, – ответил он сам себе, смиренно и сокрушенно глядя на небосвод.

«Да, уж у этого литература не засела занозой в сердце», – подумал Тонио Крёгер. Ему вдруг вспомнилась недавно прочитанная статья знаменитого французского писателя о космологическом и психологическом мировоззрении – поистине изысканная болтовня.

Он что-то сказал молодому человеку в ответ на его прочувствованное замечание, и они разговорились, стоя у фальшборта и вглядываясь в тревожно освещенный, подвижный сумрак. Попутчик Тонио Крегера оказался коммерсантом из Гамбурга; он решился воспользоваться отпуском для увеселительной поездки...

– Мне подумалось, хорошо бы разок прокатиться на пароходе в Копенгаген, и вот я уж стою здесь и не налюбуюсь на эту благодать. Омлет только, конечно, не следовало есть, потому что ночь будет бурная, это сам капитан сказал, а с такой тяжестью в желудке нам круто придется.

Тонио Крёгер, втайне умиляясь, выслушивал весь этот благодушный вздор.

– Да, – заметил он, – здесь, на севере, пища вообще слишком тяжелая. От нее становишься грустным и неповоротливым.

– Грустным? – переспросил молодой человек и в недоумении уставился на него. – Вы, верно, не из здешних краев, сударь? – внезапно осведомился он.

– Да, я приехал издалека, – отвечал Тонио Крёгер и сделал неопределенное движение рукой, словно отмахиваясь от чего-то.

– А впрочем, вы правы! – воскликнул молодой человек. – Ей-богу, правы, говоря про грусть! Я сам почти всегда грущу, особенно в такие вот вечера, когда звезды высыпают на небо. – И он опять защемил подбородок большим и указательным пальцами.

«Не иначе как пишет стихи, – подумал Тонио Крёгер, – глубоко прочувствованные, купеческие стихи...»

Надвигалась ночь, и ветер так усилился, что разговаривать стало невозможно. Они решили немного соснуть и пожелали друг другу спокойной ночи.

Тонио Крёгер вытянулся на узкой койке, ему не спалось. Жестокий ветер и терпкий запах моря странно взбудоражили его, заставили тревожное сердце биться в боязливом ожидании каких-то радостей. Вдобавок качка, особенно ощутимая, когда пароход соскальзывал с отвесной водяной горы и винт судорожно, вхолостую работал в воздухе, вызывала у него мучительную тошноту. Он снова оделся и пошел наверх, на палубу.

Тучи стремглав проносились мимо месяца. Море плясало. Волны уже не катились друг за дружкой, округлые и равномерные; в бледном мерцающем свете луны море, насколько хватал глаз, было разодрано, исхлестано, изрыто; оно, как пламя, выбрасывало гигантские языки, которые лизали борт парохода; вдруг вздымало над зияющими пенными пропастями фантастические зубчатые тени; казалось, его руки, увлекшись безумной игрой, швыряют высоко в воздух кипящее месиво. Пароходу приходилось трудно: шлепая, переваливаясь, пыхтя, пробирался он сквозь этот ералаш, и из его утробы порой доносились рыканье титра и рев белого медведя, жестоко страдавших от качки. Человек в клеенчатом плаще с капюшоном и фонарем, прицепленным к поясу, широко расставляя ноги и все-таки с трудом удерживая равновесие, шагал взад и вперед по палубе. Немного поодаль, низко перегнувшись через борт, стоял молодой человек из Гамбурга; ему было плохо.

– Боже мой, – сказал он глухим прерывающимся голосом, заметив Тонио Крёгера, – что ж это за восстание стихий, сударь! – но тут же вынужден был прервать свою речь и торопливо отвернуться к борту.

Тонио Крёгер, вцепившись в натянутый канат, смотрел на этот неистовый разгул. В его душе поднималось ликование, достаточно мощное, как ему казалось, чтобы пересилить и ветер и бурю. Песнь, обращенная к морю, окрыленная любовью, звучала в нем:

Друг давней юности, прибор,
Я снова встретился с тобой!

На этом стихотворение иссякло. Оно не было закончено, не обрело формы, не сложилось в нечто целое. Сердце Тонио Крёгера ожило...

Он долго стоял так; затем растянулся на скамье возле рубки и стал смотреть на небо и... мерцающие звезды. Он даже вздремнул ненадолго.

И когда холодная пена брызгала ему в лицо, он в полусне принимал это за ласку.

Круто вздымающиеся меловые утесы, призрачные в лунном свете, возникли откуда-то и быстро приближались: остров Мэн. И опять нашла дремота, прерываемая каскадами колючих соленых брызг, от которых деревенела кожа... Когда он совсем проснулся, был уже день, прохладный серый день, и зеленое море угомонилось. За завтраком он снова встретил молодого коммерсанта, и тот весь зарделся, стыдясь, должно быть, тех поэтических и вздорных разговоров, которые вел ночью; всей пятерней задрал он кверху свои рыжеватые усики, громко, по-солдатски, пожелал доброго утра своему вчерашнему собеседнику, но в дальнейшем пугливо его избегал.

И Тонио Крёгер прибыл в Данию. Он остановился в Копенгагене, раздавал чаевые всем, кто хоть сколько-нибудь на них претендовал, три дня пробродил по городу, не выпуская из рук путеводителя, – словом, вел себя в точности как зажиточный иностранец, желающий приумножить свои знания чужих краев. Он осмотрел новую Королевскую площадь с «конем», стоящим посередине, задирая голову, почтительно взирал на колонны Фрауенкирхе, долго стоял перед изящными и благородными скульптурами Торвальдсена, влезал на Круглую башню, осматривал замки и провел два беспечных вечера в Тиволи. Но за всем этим видел другое.

На домах с высокими сквозными фронтонами – некоторые из них были как две капли воды похожи на дома его родного города – он читал имена, знакомые ему с давних пор; казалось, они обозначают что-то нежное, дорогое сердцу и в то же время таят в себе какой-то упрек, жалобу, тоску по минувшим дням. И куда бы он ни шел, медленно, задумчиво, втягивая в себя влажный морской воздух, повсюду он видел глаза, такие же голубые, волосы, такие же белокурые, лица такого же склада и с такими же чертами, как те, что виделись ему в странных, горестных и покаянных снах в ту ночь, в родном городе. Случалось, что на улице среди бела дня чей-то взгляд, громкое слово или смех трогали его до глубины души...

Долго он в этом жизнерадостном городе не выдержал. Его прогнало оттуда какое-то беспокойство, сладостное и глупое, воспоминания или, скорей, ожидание и еще охота спокойно полежать где-нибудь на взморье, а не разыгрывать из себя любознательного туриста. И вот он снова очутился на пароходе и в пасмурный день (море было совсем черное) поплыл вдоль берега Зеландии, в Хельсингёр. Там он перевел в экипаж, проехал еще три четверти часа по прибрежному шоссе и остановился наконец у цели своего путешествия. Это была маленькая приморская гостиница, вся белая, с зелеными ставнями, расположенная в центре селенья, застроенного одноэтажными домишками; ее крытая дранкой башня глядела на Зунд и на шведский берег. Здесь он сошел, занял светлый номер, заранее для него приготовленный, переложил вещи из чемодана в комод и шкаф и на время обосновался в этих краях.

Стоял уже сентябрь, и в Аальсгаарде приезжих было немного. За табльдотом в большой столовой, с окнами на застекленную веранду и деревянными балками йод потолком, председательствовала хозяйка, старая дева, седоволосая, с белесыми глазами и нежно-розовым цветом лица; она неумолчно болтала щебечущим голоском и все старалась, чтобы ее красные руки поизящнее выглядели на скатерти. Один из постояльцев, пожилой господин с короткой шеей, седой шкиперской бородкой и сизым лицом, рыботорговец из столицы, умел говорить по-немецки. Он был явно склонен к аполексии а казался закупоренным: дышал тяжело, прерывисто и время от времени подносил украшенный

перстнем указательный палец к носу, чтобы, зажав одну ноздрю, с шумом втянуть другой хоть немного воздуха.

Впрочем, это не мешало ему изрядно выпивать, и бутылка с водкой неизменно высилась перед его прибором за завтраком, обедом и ужином.

Кроме него, здесь жили еще только три американских юнца то ли с гувернером, то ли с домашним учителем, который молча поправлял очки и с утра до вечера играл с ними в футбол. У юнцов были рыжие волосы, причесанные на прямой пробор, и длинные неподвижные лица. «Please, give me the колбаса, there»[7 - Дайте мне, пожалуйста... (англ.)], – говорил один. «That's not колбаса; that's ветчина»[8 - Это не... это... (англ.)], – отвечал другой. Этим ограничивалось участие молодых американцев и их учителя в застольной беседе; все остальное время они сидели молча и пили только кипяток.

Тонио Крёгер и не желал себе лучших сотрапезников. Он наслаждался покоем, прислушивался к гортанным звукам датской речи, к глухим и звонким гласным в словах, которыми обменивались рыботорговец и хозяйг ка, время от времени отпускал какое-нибудь замечание о показаниях барометра и тут же вставал, проходил через террасу и опять спускался вниз, к морю, где уже провел все утро.

Временами здесь бывало тихо и тепло, как летом. Море покоилось ленивое, недвижимое, все в синих, темно-зеленых и рыжих полосах, по которым пробегали серебристые сверкающие блики; в такие дни водоросли на солнце становились сухими, как сено, а медузы испарялись и таяли.

Воздух слегка отдавал гниlostью и смолой рыбацьеи лодки, к которой прислонялся Трнио Крёгер, сидевший на песке так, чтобы видеть не шведский берег, а открытый горизонт; но надо всем веяло легкое, чистое и свежее дыхание моря.

А потом наступали серые штормовые дни. Валы склоняли головы, как быки, изготовившиеся к нападенью, в ярости устремлялись на берег, заливали чуть ли не всю песчаную полосу и, откатываясь, оставляли на ней влажные блестящие водоросли, ракушки и щепки. Между длинными грядами водяных холмов, под серым небом простирались светло-зеленые пенные долины, но там, где сквозь тучи пробивалось солнце, на воду ложился бархатисто-белый глянец.

Тонио Крёгер стоял на ветру под брызгами, погруженный в извечный тяжкий, одуряющий рокот, который он так любил. Стоило ему повернуться и пойти прочь, как вокруг внезапно становилось тепло и тихо. Но он знал, что за спиной у него море; море звало его, манило, радушно его приветствовало. И он улыбался.

Бродил он и среди лугов, по одиноким тропинкам, и буковый лес, уходивший в холмистые дали, принимал его иод свою сень. Он садился на мтаистую землю, спиной прислоняясь к дереву, но всегда так, чтобы меж стволов виднелась полоска моря. Временами ветер доносил до него шум прибоя, похожий на стук сваливаемых в кучу досок или на карканье ворон над деревьями, хриплое, сердитое, тоскливое... Он держал на коленях книгу, в которой не прочитал и строчки. Упиваясь забвением, он свободно парил над временем и пространством. И лишь изредка какая-то боль пронизывала его сердце – короткое, колющее чувство тоски или раскаяния; в ленивой своей истоме он и не пытался дознаться, откуда оно взялось и что означает.

Так проходили дни. Сколько их прошло, он не мог бы сказать и не пытался установить. Но затем случилось нечто из ряда вон выходящее, – случилось среди бела дня, в присутствии других людей, и Тонио Крёгер даже не очень удивился.

Восхитительно праздничным было уже самое начало этого дня. Тонио Крёгер проснулся ранним утром от чувства какого-то неуловимого, неопределенного страха – так что сон точно рукой сняло, и... вдруг ему привиделось волшебное царство света. Его комната, оклеенная обоями нежных, мягких тонов и обставленная легкой светлой мебелью, с застекленной дверью на балкон, через которую виднелся Зунд, с белой газовой занавесью, разделяющей ее на гостиную и спальню, всегда выглядела нарядной и приветливой. Но сейчас она предстала его еще заспанным глазам в неземной лучезарности, вся пронизанная несказанно обворожительным, благоуханным розовым сиянием, золотившим стены и мебель и отбрасывавшим на газовую занавесь нежно-алые блики. Тонио Крёгер долго не мог взять в толк, что произошло. Но когда он подошел к балконной Двери и приоткрыл ее, то увидел, что восходит солнце.

Несколько дней погода стояла пасмурная и дождливая; но теперь, ясное сияющее небо казалось голубым шелком, туго натянутым над морем и сушей, и солнечный диск, окруженный и полуприкрытый облачками, которые светились багрянцем и золотом, торжественно подымался над переливчатой зыбью моря, трепещущей и пламенеющей в утренних лучах... Так начался день, и Тонио Крёгер в счастливом смятенье быстро оделся, позавтракал раньше всех внизу на веранде, выплыл из деревянной купалстши в Зунд и затем еще с добрый час гулял по взморью. Вернувшись, он увидел перед гостиницей несколько громоздких экипажей, похожих на омнибусы, и, уже придя в столовую, обнаружил, что в соседней гостиной, где стоял рояль, а также на веранде и площадке перед нею расселось за круглыми столиками множество людей, судя по одежде – мелких бюргеров, которые оживленно переговаривались и пили пиво, закусывая бутербродами. Тут были целые семьи – старики, молодежь и даже несколько ребятишек.

За вторым завтраком (стол ломился под тяжестью холодных закусок, копченостей, солений и печенья) Тонио Крёгер наконец поинтересовался, что здесь, собственно, происходит.

– Гости, – отвечал рыботорговец. – Экскурсанты из Хельсингёра, которым хочется здесь поплясать. Поистине божье наказание! Сегодня нам не удастся выспаться! Будет бал – танцы, танцы и музыка, боюсь, что допоздна. Это семейная экскурсия, пикник в складчину по подписке или что-то в этом роде, и уж они сумеют использовать хорошую погоду. Они прибыли на лодках и в экипажах и сейчас завтракают. Затем они поедут любоваться природой, но к вечеру обязательно вернуться и будут танцевать.

Черт бы их драл, я уверен, что мы глаз не сомкнем!

– Ничего, это как-никак приятное разнообразие, – сказал Тонио Крёгер.

Некоторое время они оба молчали. Хозяйка барабанила по столу красными пальцами, рыботорговец шумно втягивал воздух через правую ноздрю, американцы пили кипяток, причем их длинные лица принимали постное выражение.

Тут это и случилось: через столовую прошли Ганс Гансен и Ингеборз Хольм.

Тонио Крёгер, приятно утомленный купаньем и быстрой ходьбой, усевшись поудобнее, ел копченую лососину с поджаренным хлебом; лицо его было обращено к веранде и к морю. И вдруг дверь отворилась, и рука в руку, неторопливо вошли эти оба. Ингеборг, белокурая Инге, была одета в светлое легкое платье в цветочках, точно на уроке танцев господина Кнаака; оно доходило ей только до щиколоток, ворот «сердечком» был отделан белым тюлем, не закрывавшим ее мягкой, гибкой шеи. На руке у нее на двух связанных лентах висела шляпа. Инге выглядела разве что несколько взрослее, и длинная ее коса была

теперь уложена вокруг головы.

Зато Ганс Гансен не изменился нисколько. На нем по-прежнему был бушлат с золотыми пуговицами и выпущенным из-под него матросским воротником; матросскую шапочку с короткими лентами он держал в опущенной руке и беззаботно помахивал ею. Ингеборг отвела в сторону свои миндалевидные глаза, видимо стесняясь устремленных на нее взглядов. Зато Ганс Гансен, целому свету наперекор, вызывающе и немного презрительно оглядел всех сидевших за столом; он даже отпустил руку Ингеборг и стал еще энергичнее размахивать бескозыркой: смотрите, мол, вот я каков! Так прошли эти двое перед глазами Тонио Крёгера на фоне нежно голубеющего моря, прошли по столовой и скрылись за противоположной дверью в комнате, где стоял рояль.

Это было утром, в половине двенадцатого, и постояльцы гостиницы еще сидели за завтраком, когда вся компания на веранде поднялась и, уже не заглядывая в столовую, вышла через боковую дверь. Слышно было, как они рассаживались со смехом и шутками, и экипажи, шурша по гравию шоссе, трогали и отъезжали один за другим...

– Значит, они еще вернутся? – спросил Тонио Крёгер.

– Еще бы, – отвечал рыботорговец. – На наше несчастье! Они ведь заказали музыку, а моя комната как раз над залом.

– Что ж, это приятное разнообразие, – повторил Тонио Крёгер.

С этими словами он поднялся и ушел.

Он провел день, как проводил все другие, – в лесу, у моря, сидел, держа книгу на коленях, и щурился на солнце. В голове у него шевелилась одна только мысль: они вернутся, в зале состоится вечеринка с танцами, как и предрекал рыботорговец; Тонио Крёгер радовался этому, и радость его была такой робкой и сладостной, какой он не испытывал уже давно, в течение всех этих мертвых лет. По неожиданной ассоциации ему на мгновение вспомнился давнишний знакомый, новеллист Адальберт. Он-то знал, чего хочет, и отправился в кафе, чтобы не дышать весенним воздухом. Вспомнив это, Тонио Крёгер пожал плечами...

Обед в тот день был подан раньше обычного, так же, впрочем, как и ужин, происходивший в гостиной; в большой столовой шли приготовления к балу: праздник так праздник! Когда уже стемнело и Тонио Крёгер сидел у себя в номере, на шоссе и в доме все снова наполнилось шумом.

Экскурсанты вернулись, мало того: из Хельсингёра на велосипедах и в экипажах прибыли новые гости; где-то внизу уже настраивали скрипку, слышались и гнусавые звуки кларнета... Словом, все предвещало веселье.

Вот уже маленький оркестр заиграл марш: наверх приглушенно донеслись отчетливые такты. Бал открывался полонезом. Тонио Крёгер, прислушиваясь, посидел еще несколько минут. Но, когда марш сменился звуками вальса, он встал и, бесшумно ступая, вышел из комнаты.

Из коридора можно было по черной лестнице спуститься к запасному выходу, а оттуда, не заходя в дом, прямо пройти на веранду. Этот путь он избрал и пошел по нему тихо, крадучись, словно по запретной тропе, ощупью пробираясь во мраке, неодолимо влекомый этой глупой, блаженно баюкающей музыкой, теперь уже явственно доносившейся до него.

На веранде было темно и пусто, но дверь в зале, где уже ярко горели обе большие керосиновые лампы с блестящими рефлекторами, стояла настежь.

Тонио Крёгер бесшумно прокрался на веранду, и от воровского наслаждения – стоять здесь, в потемках, незамеченным и следить за танцующими – у него по спине пробежали мурашки. Глаза его торопливо и жадно выискивали в толпе тех двоих...

Веселье было в полном разгаре, хотя бал начался всего каких-нибудь полчаса назад; впрочем, все танцоры уже явились сюда возбужденные и радостные от совместно проведенного веселого, беззаботного дня.

В гостиной, которую Тонио Крёгер видел, когда решался несколько податься вперед, за карточными столами, куря и потягивая вино, разместились пожилые мужчины; другие сидели по углам возле своих жен или вдоль стен на плюшевых стульях и смотрели на танцующих; они упирались руками в растопыренные колени и, раздувая щеки, удовлетворенно пыхтела. Мамаши, сложив руки под грудью и склонив набок головы в маленьких шляпках на макушке, наблюдали за весельем молодежи. На эстраде, сооруженной у одной из стен, что было сил наяривал музыканты. В числе инструментов была даже труба; она трубила осторожно, словно боясь собственного голоса, но все равно то и дело заглушала остальные инструменты... Одни пары, покачиваясь и кружась, скользили в танце, другие рука об руку прогуливались вдоль зала. Одеты все были не по-бальному, а так, как одеваются для воскресной загородной прогулки: кавалеры в не слишком ладно скроенных костюмах, видимо заботливо сберегавшихся в будние дни, молодые девушки в воздушных светлых платьицах с пучками полевых цветов у ворота. В зале попадались и детишки, продолжавшие плясать, даже когда умолкала музыка.

Распорядителем бала и дирижером был долговязый чиновник почтового или какого-то другого ведомства, в визитке с разлетающимися фалдами, с моноклем в глазу и подпаленными волосами – провинциальный лев, живое воплощение комического героя из датского романа. Юркий, обливающийся потом, весь ушедший в свое занятие, он, суетливо виляя задом, поспевал во все концы, мягко ступал на носки и выписывал ногами, обутыми в остроносые штиблеты, какие-то мудреные вензеля; размахивая руками в воздухе, он отдавал распоряжения, что-то кричал оркестру и хлопал в ладоши; вокруг него все время реяли концы огромного банта, прикрепленного на плече, – знак его особых бальных полномочий, на который он нет-нет да и бросал нежные взгляды.

Да, и они были здесь, те двое, что прошли сегодня перед Тонио Крёгером в сиянии солнечных лучей; он снова видел их и содрогнулся от радости, заметив обоих сразу. Ганс Гансен стоял у двери, совсем близко от него.

Широко расставив ноги и слегка нагнувшись вперед, он спокойно уплетал громадный кусок песочного торта, держа руку горстью у подбородка, чтобы не просыпать крошек. А там, у стены, сидела Ингеборг Хольм, белокурая Инге. Почтовый чиновник как раз подлетел к ней, чтобы с изысканным поклоном, заложив одну руку за спину, а другой грациозно касаясь груди, пригласить ее на танец. Но она в ответ только покачала головой и объяснила, что очень запыхалась и должна немного передохнуть, после чего кавалер уселся рядом с нею.

Тонио Крёгер смотрел на тех, кого он так страдальчески любил когда-то, на Ганса и Ингеборг. Он любил их обоих не в силу каких-то свойств, им одним присущих, или их схожей манеры одеваться, – его пленяло в них тождество расы, типа, принадлежность к одной и той же породе людей – светлых, голубоглазых, белокурых, породе, вызывающей представление о чистоте, неомраченном благодушии, веселости, простом и горделивом

целомудрии... Он видел их, видел, как Ганс, широкоплечий, узкобедный, еще более здоровый и стройный, чем в ту далекую пору, стоял там в своем матросском костюме, видел, как Ингеборг, лукаво смеясь, по-особенному подняла и закинула за голову руку, не слишком узкую, не слишком изящную руку девочки-подростка, и при этом движении рукав соскользнул с ее локтя. И вдруг тоска по родине с такой силой сдавила его грудь, что он непроизвольно еще глубже попятился в темноту, чтобы никто не заметил нервного подергивания его лица...

«Разве я забыл вас? – спрашивал он себя. – Нет, я никогда вас не забывал! Ни тебя, Ганс, ни тебя, белокурая Инге! Ведь это для вас я работал, и, когда мой труд вознаграждался рукоплесканиями, я потихоньку оглядывался, нет ли среди рукоплещущих вас обоих...

Прочитал ли ты «Дон Карлоса», Ганс Гансен, как ты мне обещал у калитки? Нет, не читай его! Я этого больше с тебя не спрашиваю. Что тебе до короля, которыми плачет ет одиночества? Не надо, чтобы твои ясные глаза туманились, подергивались сонной одурью от упорного чтения стихов и от меланхолии... Быть таким, как ты! Начать все с начала, вырасти похожим на тебя, честным, веселым и простодушным, надежным, добропорядочным, в ладу с богом и людьми; быть любимым такими же чистыми сердцем счастливцами, взять в жены тебя, Ингеборг Хольм, и иметь сына, такого, как ты, Ганс Гансен, жить свободным от проклятья познания и творческих мук, – любить и радоваться блаженной обыденности... Начать с начала. Но стоит ли? Это ни к чему не приведет. Все будет, как было. Ведь иные сбиваются с пути только потому» что для них верного пути не существует».

Музыка смолкла; в перерыве разносили закуски. Почтовый чиновник бегал по залу, самолично обнося дам селедочным паштетом; перед Ингеборг он даже опустился на одно колено, и она зарделась от удовольствия.

Между тем в зале заметили соглядатая за дверью; красные разгоряченные лица оборачивались к нему с недоуменным, даже сердитым выражением, но он упорно не двигался с места. Ингеборг и Ганс тоже почти одновременно скользнули по нему глазами до того равнодушными, что это граничило уже с презрением. И вдруг он почувствовал устремленный на него откуда-то пристальный взгляд. Он обернулся, и глаза его тотчас же встретились с теми, чей взгляд он почувствовал на себе. Неподалеку от него стояла девушка с бледным узким и тонким лицом, на которое он уже раньше обратил внимание. Она мало танцевала, – кавалеры не очень-то увивались вокруг нее, – и со строго сжатými губами одиноко сидела у стены.

И сейчас она тоже была одна, одетая в светлое, воздушное платье, как другие девушки. Но сквозь прозрачную ткань просвечивали острые, слабые плечи, а худая шея уходила в них так глубоко, что бедная девушка казалась немного горбатой. Руки в ажурных митенках она держала у плоской груди и, склонив голову, исподлобья глядела на Тонио Крёгера черными влажными глазами. Он отвернулся...

Здесь, совсем близко от него, сидели Ганс и Ингеборг. Они – ели и пили среди своих краснощеких сотрапезников, болтали, веселились, громко поддразнивали друг друга и смеялись до упаду, Может быть, подойти к ним поближе? Обратиться к нему или к ней с шутливыми словами, первыми, какие придут и голову; и тогда они должны будут ему ответить хотя бы улыбкой? Эта улыбка осчастливила бы его, он мечтал о ней и, удовлетворенный, вернулся бы к себе в комнату, в сознании, что какая-то общность все же установилась между ними. Он придумывал, что бы им сказать, но сказать у него не достало смелости. Да и не стоило: они, как всегда, не поняли бы его, холодно выслушали бы его слова. Ибо их язык не был его языком.

Вот, кажется, опять начинаются танцы. Чиновник развивал неустанную деятельность. Он носился по залу, требовал, чтобы кавалеры приглашали дам, с помощью кельнера убирал с дороги стулья отдавал приказания оркестрантам, подталкивал за плечи увальней, не знавших, куда себя девать. Что тут такое готовится? Пары выстраиваются по четыре, образуя каре... Страшное воспоминание заставило побагроветь Тонио Крёгера.

Сейчас начнется кадрили.

Заиграла музыка, и пары с поклонами стали сходить и расходиться.

Чиновник дирижировал кадрилию и – боже милостивый! – отдавал распоряжения по-французски, грассируя с неподражаемой изысканностью.

Ингеборг Хольм танцевала почти рядом с Тонио Крёгером, в том каре, которое было ближе к двери. Она мелькала перед ним справа и слева, то плавно выступая, то стремительно кружась; благоуханье, исходившее от ее волос, а может быть, от легкой ткани ее платья, временами долетало до него, и он закрывал глаза, охваченный издавна знакомым чувством, – чувством, аромат и терпкую прелесть которого он ощущал в воздухе все последние дни и которое теперь вновь наполнило его сладостным томлением. Что это? Тоска? Нежность? Зависть и презрение к самому себе?..

Moulinet des dames! Ты смеялась, белокурая Инге, смеялась надо мной, когда я танцевал moulinet и так ужасно осрамился? А теперь, когда я стал чем-то вроде знаменитости, ты бы тоже смеялась надо мной? Да, конечно, и ты была бы трижды права! Даже если бы я один создал Девятую симфонию, «Мир как воля и представление» и «Страшный суд» – ты все равно была бы вправе смеяться... Он взглянул на нее, и в его памяти ожила стихотворная строчка, давно не вспоминавшаяся и тем не менее такая знакомая и волнующая: «Хочу заснуть, а ты иди плясать...»

Как ему понятно по-северному меланхолическое, простодушно-неповоротливое чувство, отраженное в этих словах! Спать... Стремиться просто и полно жить чувством, чувством, сладостно и лениво покоящимся в самом себе, которому не обязательно претворяться в действие или в танец, и тем не менее танцевать, ловко и уверенно танцевать среди ножей трудный, опасный танец искусства, вечно памятуя об унижительном противоречии между этим танцем и любовью.

Внезапно все вокруг бешено засуетилось. Каре распались, танцующие затопали, потом стремительно заскользили по залу: кадрили кончалась галопом. Пары под неистово быструю музыку проносились мимо Тонио Крёгера, торопясь, обгоняя друг друга, тяжело дыша и смеясь. Вот совсем рядом кружится, мчится пара, подгоняемая общей спешкой. У девушки бледное, тонкое лицо и худые, слишком высокие плечи. И вдруг, совсем уже рядом с ним – заминка, неловкое движение. Девушка падает... Падает со всего размаху – это выглядело опасным паденьем! – и увлекает за собой кавалера. Он, видимо, так расшибся, что даже позабыл о своей даме; едва приподнявшись, он трет с гримасой боли свое колено, а девушка, оглушенная паденьем, все еще лежит на полу. Тут Тонио Крёгер выступил из темноты, взял ее за руки и бережно поднял. Напуганная, смущенная, несчастная, она подняла на него глаза, и ее нежное лицо внезапно залилось краской.

– Так! O, mange Tak![9 - Спасибо! Большое спасибо! (дат.)] – проговорила она, снизу вверх глядя на него темными влажными глазами.

– Вам больше не следует танцевать, фрейлейн, – мягко заметил он. Еще раз оглянулся на тех, на Ганса и Ингеборг, и ушел из зала. Пройдя через веранду, он поднялся к себе в комнату.

Он был опьянен праздником, в котором не принимал участия, утомлен ревностью. Как раньше, все в точности как раньше! С пылающим лицом стоял он в темном углу, страдая из-за вас, белокурые, жизнелюбивые счастливицы, и потом, одинокий, ушел к себе. Кому-нибудь следовало бы теперь прийти! Ингеборг следовало бы прийти, заметить, что он ушел, тайком прокрасться за ним и, положив руку ему на плечо, сказать: «Пойдем к нам! Развеселись! Я люблю тебя!..» Но она не пришла. Ничего такого не случилось. Все было как тогда, и, как тогда, он был счастлив. Ибо сердце его жило. А что же было все то время, когда он становился тем, чем был теперь? Оцепененье, пустота, лед и – дух! И еще – искусство!

Он разделся, лег, потушил свет и стал шептать в подушку два имени, несколько целомудренных северных слогов, которые для него означали его любовь, его страданья, счастье, а также жизнь, простое горячее чувство и родину. Он оглядывался назад, на годы, прожитые с того дня по нынешний. Вспоминал о мрачных авантюрах чувства, нервов, мысли, видел самого себя, снедаемого иронией и духом, изнуренного и обессиленного познанием, изнеможенного от жара и озноба творчества, необузданно, вопреки укорам совести, бросающегося из одной крайности в другую, мечущегося между святостью и огнем чувственности, удрученного холодной экзальтацией, опустошенного, измученного, больного, заблудшего, и плакал от раскаяния и тоски по родине.

Вокруг было темно и тихо. И только снизу, приглушенная, убаюкивающая, доносилась до него сладостная и пошлая мелодия жизни.

Тонио Крёгер продолжал жить на севере и, выполняя свое обещание, писал Лизавете Ивановне, испытанному другу.

«Милая Лизавета, обительница далекой Аркадии, куда скоро ворочусь и я! Вот наконец некое подобие письма, оно, вероятно, разочарует Вас, ибо будет содержать одни лишь общие рассуждения. Не то чтобы у меня не было о чем рассказать; кое-что мне все-таки довелось пережить, – на свой лад, конечно. Дома, в моем родном городе, меня чуть было не арестовали...

Но об этом я расскажу Вам устно. У меня теперь бывают дни, когда я предпочитаю философствовать на общие темы, а не рассказывать истории.

Помните ли Вы еще, Лизавета, что однажды назвали меня бургером, заблудшим бургером? Так Вы назвали меня в час, когда я имел оплошность вслед за другими признаниями заговорить с Вами о моей любви к тому, что я называю жизнью. И вот я спрашиваю себя: сознавали ли Вы тогда, как близки Вы к истине, как тесно связаны друг с другом моя бургерская сущность и моя любовь к «жизни»? Нынешнее мое путешествие вновь заставило меня об этом задуматься...

Мой отец, Лизавета, был человеком северного темперамента: склонным к созерцательности и грусти, основательным и пуритански корректным; моя мать, в жилах которой текла смешанная экзотическая кровь, была хороша собой, чувственна, наивна; беспечность в ней сочеталась со страстностью, с импульсивной распущенностью. Такое соединение кровей, несомненно, таило в себе немалые возможности и... немалую опасность.

В результате получился бургер, оплошно забредший в искусство, цыган, тоскующий по хорошему воспитанию, художник с нечистой совестью. Ведь это бургерская совесть

заставляет меня в занятиях искусством, во всем из ряда вон выходящем и гениальном видеть нечто двусмысленное, глубоко подозрительное, вызывающее опаску. Отсюда и моя нежность, граничащая с влюбленностью, ко всему примитивному, простодушному, утешительно-нормальному, заурядному и благопристойному.

Я стою между двух миров, ни в одном не чувствуя себя дома, и потому мне приходится круто. Вы, художники, называете меня обывателем, а обыватели хотят меня арестовать... Я же толком и сам не знаю, что больше меня огорчает. Бюргеры глупы; но вам, поклонники красоты, обвиняющим меня во флегме и в отсутствии возвышенной тоски, не плохо было бы понять, что существует творчество столь глубокое, столь Предначертанное и роковое, что нет для него ничего сладостнее и желаннее, чем блаженная обыденность.

Я восхищаюсь холодными гордецами, что шествуют по тропе великой, демонической красоты, презирая человека, но не завидую им. Ведь если, что может сделать из литератора поэта, то как раз моя бюргерская, обывательская любовь к человеческому, живому, обыденному. Всё тепло, вся доброта, весь юмор идут от нее, и временами мне кажется, что это и есть та любовь, о которой в Писании сказано, что человек может говорить языком человеческим и ангельским, но без любви голос его все равно останется гудящей медью и кимвалом бряцающим.

Сделанное мною – ничто, самая малость, все равно что ничто. Я добыю большего, Лизавета, – обещаю Вам. Сейчас, когда я пишу, ко мне в комнату доносится рокот моря, и Я закрываю глаза. Я вглядываюсь в неродившийся, еще призрачный мир, который требует, чтобы его отлили в форму, упорядочили, вижу толчею теней, отбрасываемых человеческими фигурами, эти тени машут мне – воплоти и освободи нас! Среди них есть трагические, есть Смешные, есть и такие, в которых представлено, то и другое, – к ним я привержен всей душой. Но самая глубокая, тайная моя любовь отдана белокурым и голубоглазым, живым, счастливым, дарящим радость, обыкновенным.

Не хулите эту любовь, Лизавета: она благодатна и плодотворна. В ней страстное ожидание, горькая зависть, малая толика презрения и вся полнота целомудренного блаженства».

Примечания

1

Имею честь представиться, моя фамилия Кнаак... (франц.)

2

Вперед! (фр.)

3

Поклон! Дамы – накрест! За руки – кружиться! (фр.)

4

Назад (фр.)

5

Фи! (фр.)

6

Красота (ит.)

7

Дайте мне, пожалуйста... (англ.)

8

Это не... это... (англ.)

9

Спасибо! Большое спасибо! (дат.)